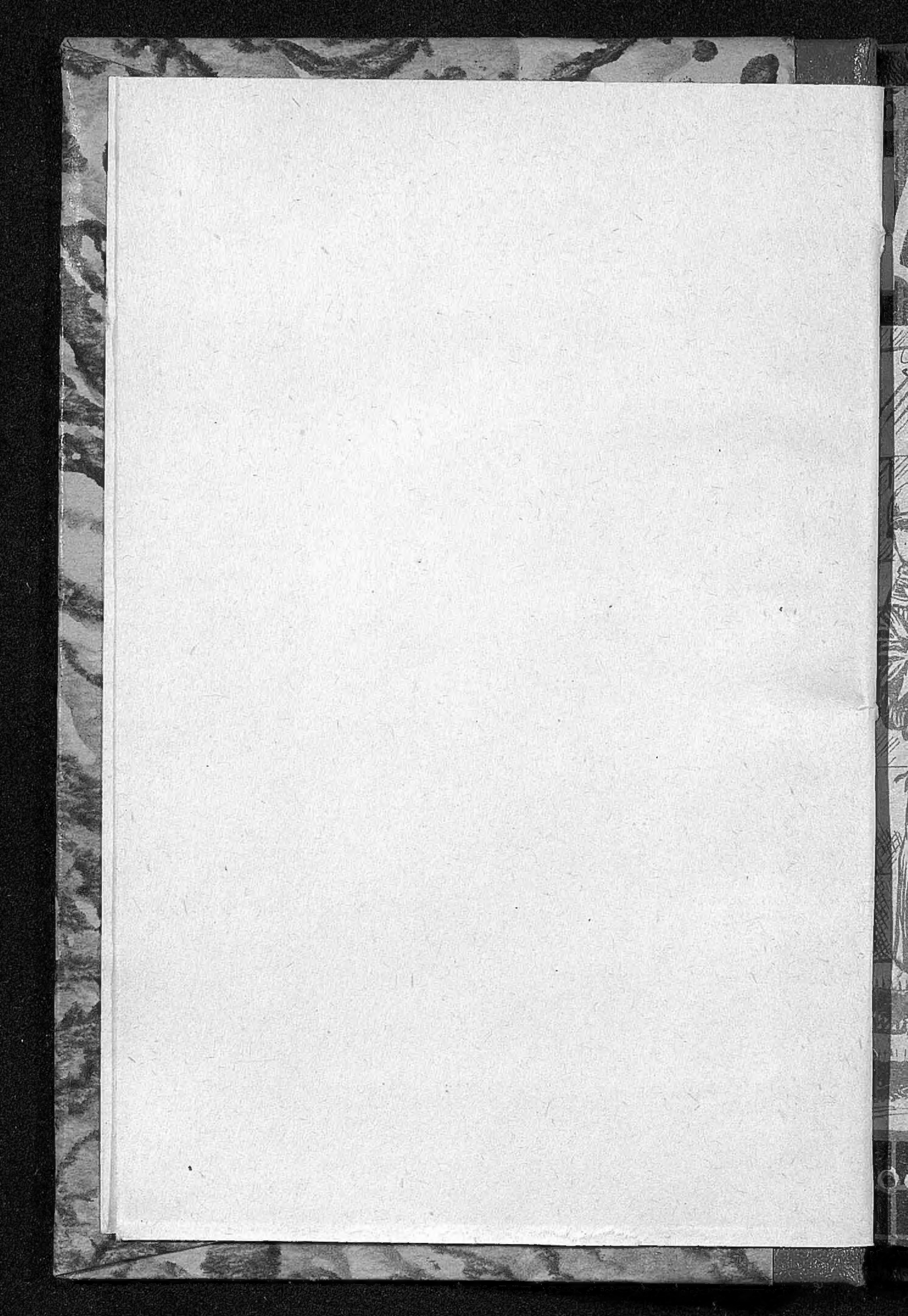
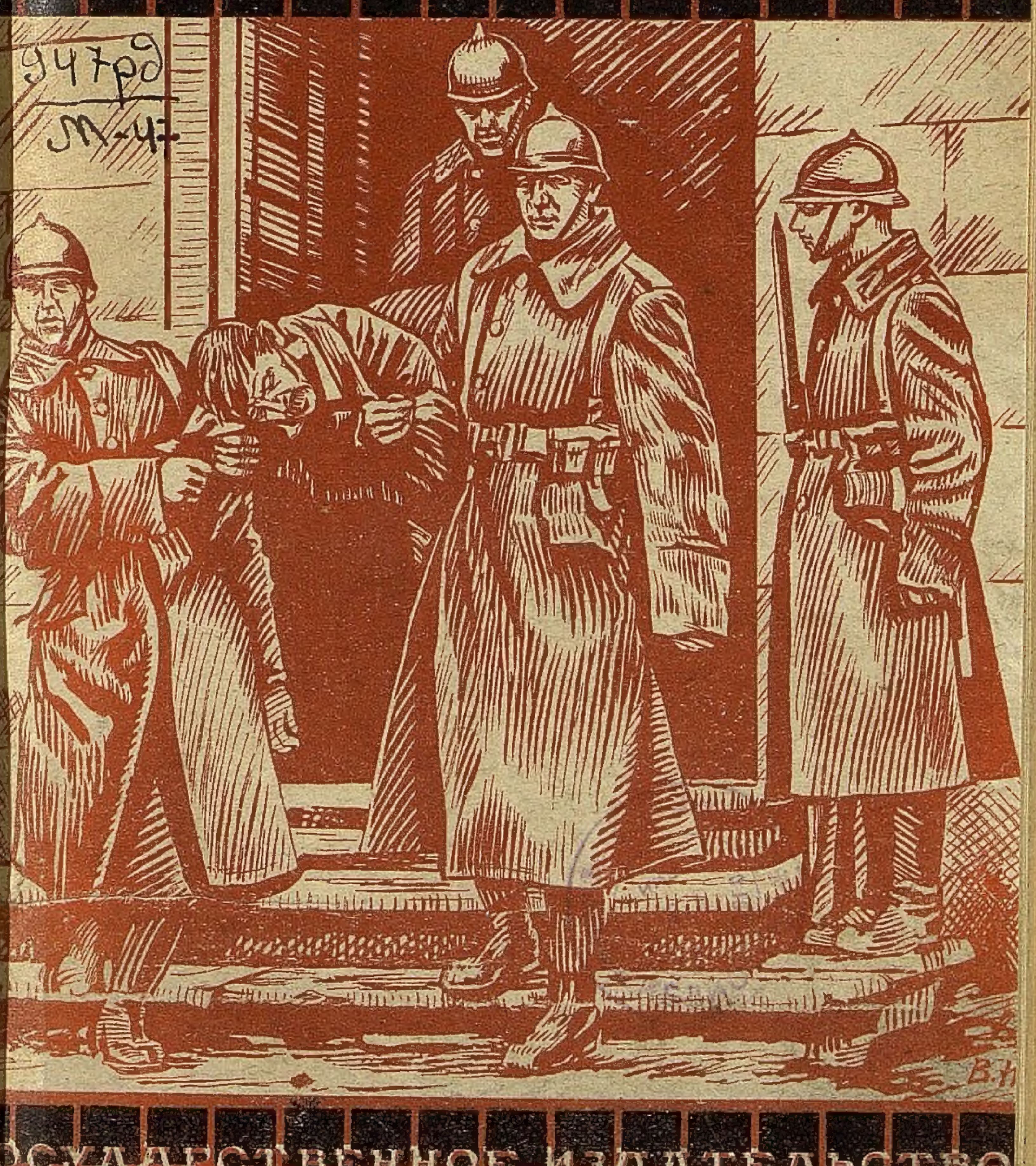
Мелентьев С.
"Жизнь
и
борьба"

М.-Л., 1929.



С. МЕЛЕНТЬЕВ

ЖИЗНЬ И БОРЬБА



В. К.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1926

С. МЕЛЕНТЬЕВ

ЖИЗНЬ И БОРЬБА

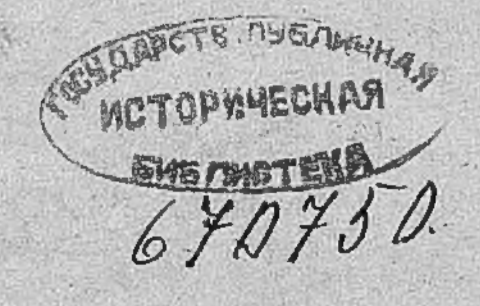
ВОСПОМИНАНИЯ
КРЕСТЬЯНИНА-РЕВОЛЮЦИОНЕРА

С РИСУНКАМИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1929 ☆ ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в типографии Госиздата
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ".
Москва, Краснопролетарская, 16
в количестве 35000 экземпл.
Главлит № А — 44734
Гиз К — 10 № 33242
Заказ № 9694
3¼ п. л.
☆



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

В своих письмах издательству с отзывом о той или иной книжке крестьянские читатели неоднократно выражали желание издания ряда биографий (жизнеописания) рядовых рабочих и крестьян, выбившихся из вековой темноты капиталистического угнетения и работающих теперь по строительству нового социалистического общества.

Предлагаемое вниманию читателя жизнеописание крестьянина-революционера является попыткой дать на примере переживаний отдельного лица частицу истории развития революционного движения в помещичье-капиталистической России, показать ту школу, в которой воспитывались и закалялись пролетарские бойцы.

Как ни сурова подчас была для старого поколения эта школа революционной закалки, но благодаря ей выковался необходимый кадр, который смог организовать и возглавить пролетарскую революцию.

ДЕТСТВО.

В пяти километрах от Великого Устюга, на правой стороне реки Сухоны, среди полей и болот, стоял старый помещичий дом с прогнившей крыщей и покосившимися окнами. В этом развалившемся доме ютился с большой семьей крестьянин-бедняк, мой отец.

Сорок пять лет прожил он в этом доме, схоронил пять сыновей, работал от зари до зари, не знал ни отдыха, ни покоя. За свой каторжный труд он получал от помещика две пятых снятого урожая, солому, охвостья и мякину. Остальную же долю он должен был измолотить, провеять, смерить в присутствии приказчика или самого хозяина, ссыпать в мешки и свезти в городские барские закрома. За это жена помещика подносила ему рюмку водки, приговаривая: «Ты устал и замерз, на-ка, отогрейся, выпей!»

Так, из года в год, вплоть до Октябрьской революции, наша семья своим потом поливала помещичью землю.

В нашем краю природа была черства и суро-

ва. Зимы стояли лютые, птицы мерзли на лету, в избах замерзала вода, в углах курчавился иней. Вот в такие-то нерадостные холодные утра вся семья собиралась итти на гумно молотить. Все кутались и напяливали на себя всякое тряпье, оставляя только глаза открытыми. На завтрак—редька с квасом, а то похлебают заваренного в соленой горячей воде хрена,—и снова на гумно, до глубокой ночи. Так мучились мы изо дня в день, потому что молотьба длилась месяцами. Ноги подкашивались от усталости, голова кружилась, но работа не ждет,—работаешь, стиснув зубы.

В особенности тяжело жилось весной и во время сенокоса: старый хлеб съеден, а свежий не доспел, денег нет, а тут тяжелые полевые работы. Питались кое-чем впроголодь, ели мороженую картошку, хлеб из отрубей, лук, щавель.

Тяжело жилось крестьянской бедноте до революции. А наряду с этой нуждой, с этим постоянным голодом и каторгой крестьянской чрезмерной работы — привольная помещичья жизнь, богатство и довольство, беззаботное прожигание дней, постоянный праздник.

Бывало видишь барчуков,—они выхоленные, нарядно одетые, беззаботные, а ты грязный, оборванный, без шапки, в холщевой рубахе, забитый нуждой и горем с израненными ногами, на которых запеклась кровь. Смотришь и

ненавидишь барчуков за их сытость, праздность, веселье.

Я уже начал работать в том возрасте, когда другие дети беззаботно играют. Да мне и не с кем было играть.

Осенью, когда все убрано с поля и работы нет, сидишь, сидишь дома босой, да и надумаешь по снегу, по слякоти бежать к ребятам в соседнюю деревню Барсуково. А на полдороге брат поймает и выдерет. Так жилось, пока не пошел в школу.

Мне тогда было лет семь. Приближался сентябрь, я знал, что дети окрестных деревень собираются итти в школу. Собрался и я. Нашел в чулане какие-то две старые книги, наскоро завернул их в попавшийся под руку головной платок и спрятал в отцовский верстак. Первого сентября, в Семенов день, обычно производится запись новичков в школу. Решил и я пойти.

Приходим в школу, стали записываться. Очередь наконец доходит до меня. Учитель спрашивает:

— Сколько тебе лет?

— Семь.

— Нет, голубчик, иди, погуляй годика два, а потом приходи, запишем.

Слова учителя больно задели меня. Слезы брызнули из глаз; понурив голову, тихо поплелся я домой, а ребята остались.

С тех пор каждый день, рано утром, подходил я к окну и долго и пристально смотрел на ребят, весело бежавших в школу. Так и хотелось крикнуть:—«Эй, ребята, подождите меня»,—и бежать вслед за ними. Так посмотришь, посмотришь да и отойдешь от окна.

Когда мне исполнилось девять лет, мать и меня стала собирать в школу. На деньги, вырученные от продажи молока, купила изрядно поношенный пиджак, шапку и сапоги, и я вместе с ребятами начал учиться.

В ЛЮДЯХ.

В двенадцать лет я кончил приходскую школу. Отец потолковал с матерью и решил отдать меня в чужие люди.

Мать сама пошла в Устюг разыскивать для меня местечко.

Тут ей кто-то посоветовал обратиться к врачу Тимореву, которому требовался мальчик вместо ушедшей горничной. Мать обрадовалась. Позвала меня и говорит:

— Я тебе нашла местечко у хороших людей. Одевайся, пойдем, сынок.

Приходим к врачу Тимореву. Он был плотный, высокого роста краснолицый, с отросшим брюшком и с лысиной. Не спеша вышел он к нам, окинул меня с ног до головы испытующим взглядом и сказал маме:

— Ну, ладно, пусть остается, я его буду кормить и одевать, а деньги платить буду по истечении трех лет.

Мать попрощалась и поблагодарила, шепнув мне на ухо:

— Смотри, парень, барина и барыню слушайся!

И скрылась за дверью.

Место мне отвели в углу на кухне; кровати не было, и я поместился на верстаке, а подушкой служила собственная ладонь. Это бы не беда, но клопы не давали мне спать.

Я должен был носить с реки воду, таскать дрова, ставить самовары для господ. Тяжело было за полверсты носить на коромысле воду, тяжело было по узкой винтовой лестнице во второй этаж поднимать ведерный кипящий самовар, но и с этим я мирился. Больше всего я ненавидел ежедневно по утрам обтирать холодной соленой водой тело барчуков и убирать за ними. Это так опротивело мне, что я не вытерпел и сбежал.

НА ЧУЖБИНЕ.

Мое появление в деревне было для всех неожиданностью. Брат ворчал, сноха косилась, но добрая любящая мать ничем не попрекнула меня, только заплакала, прижав меня к груди. Недолго пожил я дома.

Приближалась осень. Мать вместе со мной пошла в город искать мне какое-нибудь место. Она обратилась к мануфактурному купцу Дербеневу, держащему в своих руках все северо-восточные уезды б. Вологодской губернии. Зашли с матерью в большой мануфактурный магазин, набитый товарами. Мать робко спросила, где хозяин. Мальчик показал на небольшого роста плотного блондина, с большими щетинистыми усами, с лысиной. Он небрежно и свысока выслушал мать, внимательно осмотрел меня, провел рукой по голове, пощупал затылок, как цыган у лошади, и сказал сквозь зубы:

— Годится!

Потом уселся за письменный стол и начал торопливо писать. Минуты две спустя он подал мне пакет и трехрублевую бумажку со словами:

— Поезжай вот с этим письмом в Усть-Сысольск к моему доверенному Охлопкову, а он тебя оттуда отправит к купцу Комлину.

Пароход на Усть-Сысольск отходил в этот же день. Мать поблагодарила Дербенева и тронула меня за руку. Мы молча вышли на улицу и направились к пароходной пристани. У меня было очень тяжело на душе. Жаль было расставаться с матерью, с родными полями, где я вырос, но другого выхода не было.

Пришли на пристань. Пароход дал первый, затем второй свисток. У меня слезы выступили

из глаз. Я старался не смотреть на мать, которая горько рыдала. Третий свисток. Я бросился к люку, пароход отошел от пристани и повернул вниз по течению. Я бегу на другой борт парохода к открытому люку, чтобы хоть еще раз взглянуть на мать, на родные поля и луга, где я провел свое раннее детство. И долго, долго смотрел, пока родной берег не скрылся из глаз.

Потянулись горы, луга, проливы, песчаные отмели и косы и опять высокие каменистые горы. Вдали уже виднелась красавинская фабрика, потом опять сдвинулись отвесные сумрачные горы, показались хлебные элеваторы и город Котлас, похожий на большое село.

На четвертые сутки наш пароход подошел к пристани Усть-Сысольск, проделав путь в 1 200 километров. Вместе с пассажирами-зырянами я сошел на берег и остановился, не зная, где найти магазин Дербенева. Обратился к какому-то пожилому мужчине, но он меня не понял и забормотал что-то по-зырянски. Не добившись ответа, наугад пошел дальше. Смотрю, на другой стороне площади знакомая вывеска: Магазин братьев Дербеневых и К°. Я вздохнул с облегчением. Захожу в магазин и спрашиваю Охлопкова. Мне указывают на седого, но еще крепкого старика. Подал ему пакет. Охлопков прочитал письмо и велел мальчику

Саковцеву свести меня на кухню, накормить и напоить.

Несколько минут спустя ко мне подошел еще другой такой же мальчик. Мы все трое оказались земляками и чуть не соседями. Я скоро с ними подружился и на душе стало легче.

ПОБЕГ.

В дербеневском магазине стали поговаривать о заморозках и приезде Комлина, зырянского купца. С жизнью в Усть-Сысольске я примирился, но меня пугало предстоящее путешествие, надо было ехать за двести километров, забраться в самую глушь. Я стал ходить по магазинам и лавкам Усть-Сысольска и предлагать свои услуги, но везде отвечали отказом. Оставалось одно—бежать на последнем осеннем пароходе домой.

Мысль о побеге не покидала меня. Бежать я решил на пароходе «Княгиня», который должен был притти из Устюга. Накануне я не спал всю ночь, утром в воскресенье встал пораньше, собрал свой узелок, позавтракал, потихоньку пробрался на пароход и спрятался в скрученные канаты. И так, без куска хлеба и без гроша в кармане, отправился домой,—к матери!

Когда пароход отчалил от берега, я вышел из засады. Теперь я был в безопасности и мог

свободно ходить по палубе. Время клонилось к вечеру. От радости, что еду домой к матери, забыл и об еде и так с пустым желудком расположился внутри свернутого в круг запасного каната.

На другой день меня стал мучить голод; но просить я не решался. Когда я робко проходил мимо машинного отделения, меня остановил какой-то мужчина, бритый, высокого роста. Он начал расспрашивать меня: куда, зачем и с кем я еду. Я доверчиво все ему рассказал. Незнакомец внимательно выслушал меня и сказал:

— Голубчик, так страдают тысячи таких же бедняков, как ты! Когда подрастешь, узнаешь причину страдания бедноты, узнаешь своих заклятых врагов.

Он помолчал и прибавил.

— А мне в Яренске нужно сходить.

Я отошел в сторону, к открытому люку, посмотреть, как пароход будет приставать. Слова незнакомца врезались в память. Вдруг он догнал меня, сунул какой-то сверток и сказал: «Вот тебе на дорогу», быстро повернулся и сошел с парохода. Я долго смотрел ему вслед в недоумении. В пакете, к моей радости, я нашел белый хлеб, колбасу, сахар, несколько яиц и две бумажные рублевки. На эти деньги я купил себе пассажирский билет и благополучно доехал до Устюга.

«ШКРАБЩИК».

Домашние удивились, увидав меня. Мать обрадовалась, а брат проворчал:

— Нигде он не уживается.

Скоро наступили холода. Мать, сестра и сноха работали дома, брат конопатил, а отец плотничал. Мне уже исполнилось 12 лет, я в семье уже считался большим и не мог есть хлеб даром. Когда молотьба кончилась я нанялся к помещику Гоголицыну, который имел свои собственные речные суда, чистить пароходные котлы.

Пароход уже был поднят на городки. Мне дали стальную стамеску-шкрабку, помощник машиниста открыл маленькое отверстие—котельный люк, сунул мне свечку в жестяном подсвечнике и пробормотал:

— Ну, полезай!

Было жутко смотреть в черную пасть люка, но делать нечего, полез. В котле можно работать сидя или лежа на боку. Ноги и руки коченели от холода и от стылого железа, я дрожал в этой проклятой железной дыре. Так бывало окоченеешь, что с трудом вылезешь. Побегаешь по палубе парохода, поточишь свой инструмент, разомнешь ноги и руки—и опять в котел. Такая каторга продолжалась с 6 часов утра до 7 часов вечера, с часовым перерывом на обед, изо дня в день. Сидишь скорчившись в ледя-

ной железной клетке и счищаешь накипь со стенок и котельных труб. За такую работу платили 15 копеек в день.

На работу приходилось ходить за пять километров от дому и вставать в четыре часа утра. Пока одеваешься, мать варит уху из вонючей сайды или заварит тертого хрену; позавтракаешь, захватишь с собой кусок черного хлеба с солью и уйдешь. В морозы работать было еще трудней: холод пронизывал до костей и захватывал дыхание, а ходить греться в зимовку запрещалось. Только во время обеденного перерыва заберешься поближе к печке, вынешь из мешка черствый хлеб, съешь его, запивая водой, и снова в железный мешок. Так работали «шкрабщики» всю зиму.

ДОМА.

Прошел лед, поля оголились. Крестьяне собирались пахать. Отец и брат были на отхожих промыслах, пахать пришлось мне. Изнуренный непосильной работой и голодовками, я был худ в свои 13 лет. У меня нехватало сил на поворотах заносить косулю и поднимать ее на руках. Поэтому к сохе привязывали полотенце, которое я закидывал на шею и так заносил на поворотах соху. Так с горем пополам я покончил с вёшной. Подоспела новая работа. На-

до было навоз возить под пар. Я напрягал все силы на этой тяжелой работе.

Бывало зачалишь вилами навоз, кряхтишь, кряхтишь, а подачи нет, руки и колени смозолишь до крови. От усталости свалишься, как пласт, отлежишься и опять за работу.

Жать было еще труднее. Вставать приходилось в четыре часа утра, вперегонку с сестрами и невесткой жали до 11 часов ночи. Спину ломит,—хоть кричи—не разогнешься. Ляжешь поперек межи, пролежишь минут пять, отдохнешь—и опять за работу. А то на коленках ползаешь с серпом в руках до поздней ночи.

Осенью отец решил куда-нибудь меня пристроить. Он обратился к заведующему агрономическим бюро земской управы, ученому агроному Кузнецкому. В агрономическое бюро требовался рассыльный мальчик. Кузнецкий охотно согласился принять меня на эту работу.

Отец на другой день повел меня на службу. Начал я бегать с пакетами по городу, выполнять всякие мелкие поручения. Мне также поручили производить опыты выращивания различных хлебных злаков, травяных семян и помогать при продаже сельскохозяйственного инвентаря.

ПЕРВЫЕ ШАГИ.

В 1905 году в агрономическое бюро поступила на службу курсистка—медичка Лидия

Павловна Поромова [1]. Мне в это время было лет 15. Поромова относилась ко мне ласково и тепло, я полюбил ее, как друга. Она иногда приносила мне книжки, я внимательно прочитывал их и рассказывал Лидии Павловне содержание их, а она разъясняла мне то, чего я не понимал. У нее я многое узнал и многому научился. Она рассказывала мне про Парижскую коммуну, про крестьянские войны в Германии, про Степана Разина и Пугачева, указывала на необходимость классовой борьбы и у нас в России.

К ней на квартиру приходили и другие товарищи, местные и ссыльные революционеры. Сотни политических ссыльных были разбросаны по Устюгу и по окрестным деревням.

В это время в Устюгской земской управе работали революционеры: Боршевников, Яковлев, Козишников, которые часто бывали у Лидии Павловны. Они дружески со мной беседовали, приносили мне книжки. Я жадно прочитывал книжки и готов был читать все свободное время, не отрываясь.

Видя, с каким пылом я набрасываюсь на книжки, Козишников, к которому я очень привязался, и его товарищи стали мне давать партийные поручения от устюгской группы Рос-

[1] А. П. Поромова была членом социал-демократической партии (большевиков) и была выслана в Устюг зимой 1905 года.

сийской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Ночью я расклеивал листовки на заборах и стенах домов наиболее людных улиц. В праздничные дни, на базарах и перевозе раздавал крестьянам газеты, журналы и книжки, запрещенные царским правительством.

Революционная волна рабочего движения в 1905 году не миновала и нашего глухого уголка. Первыми застрельщиками массового движения в Устюге и его окрестностях были организаторы молодой, только что зародившейся устюгской группы социал-демократической партии—Шумилов И. М., Козишников А. С., Охлопков И. М. и другие.

Эта маленькая группа местных революционеров с помощью некоторых политических ссыльных повела революционную работу в рабочих районах. В Михайловских механических мастерских была организована первая забастовка, к которой примкнули и Михайловские судостроительные рабочие, но эта забастовка потерпела неудачу. Вслед за этим забастовка была объявлена на стеклянном заводе «Север», а потом на льноткацкой фабрике «Красавино».

Революция 1905 года захватила широкие рабочие массы даже в таком районе, как Устюг, где большинство рабочих не порвали еще связи с землей и деревней. Большая часть рабочих была на стороне большевиков.

Будучи 16-летним подростком, я уже самостоятельно вел агитационную работу среди городской и деревенской молодежи, а также среди Михайловских рабочих и крестьянства Трегубовской волости. Я ходил в окрестные деревни, собирал молодежь, читал им газеты и журналы, разучивал с ними революционные песни и рассказывал о революционной борьбе рабочих у нас и в других странах.

Иногда ночи напролет проводил я на чердаке земской управы, печатая на гектографе революционные листовки. Крестьянская молодежь, батраки, беднота с жадностью читали их.

УЧОБА.

Поромова и Козишников убедили меня продолжать учение. Лидия Павловна Поромова сама стала готовить меня к вступительному экзамену в Дымковскую двухклассную школу. Осенью я был принят, скоро нашел там друзей и единомышленников. Школа наша была недалеко от Устюга, и я мог поддерживать связь с устюгской группой и ее руководителями.

В начале 1907 года, по поручению члена бюро устюгской группы, я организовал в школе нелегальный ученический кружок, снабжал его литературой и руководил им.

Однажды во время вечерних занятий один из моих товарищей, Скалепов, читая в школе

книжку «Враги народа», увлекся ею и не заметил, как подошел к нему дежурный учитель Попов. Тот приказал:

— Покажи, что читаешь!

Растерявшийся Скалепов подал книжку учителю. Попов посмотрел, перелистал (книжка была запрещенная) и отобрал ее у Скалепова.

На другой день Скалепова вызвали в учительскую комнату и спросили, где он взял эту книжку. Скалепов, боясь быть исключенным из школы, указал на меня. Вызвали и меня. Я подтвердил, что книжка моя. Учителя собрались и долго обсуждали мое поведение. Мне грозило исключение из школы. Наконец постановили из школы меня не исключать, но снизить отметку за поведение и предупредить на будущее время, что за такие книжки буду исключен.

Это меня не испугало.

Все же после этого случая мы стали собираться тайком по ночам то в спальне, то на чердаках, в кладовых, в сторожке или на колокольне, одним словом, всюду, где только было возможно. Весной уходили в лес, в деревню, или на кладбище, куда-нибудь в поле. Мы не только учились сами, но учили крестьянскую молодежь из окружающих школу деревень, распространяли воззвания, листовки, газеты, журналы. Уезжая на каникулы домой в деревню, товарищи кипами увозили революционную литературу в самые глухие уголки.

Когда я был переведен в последний класс, со мной случилось несчастье. Работая в школе среди ребят и среди крестьян, я был замечен полицией. Школьный совет поручил учителю Теплякову, черносотенцу, произвести в школе обыск. Этот монархист рад был стараться, перевернул все вверх дном в спальне общежития и в сундучках учеников. Так как все товарищи, по своей простоте, хранили книжки в сундучках, мы конечно попались. Виновника крамолы не надо было искать и допрашивать, он всем был известен. После второго обыска меня исключили из школы, и так путь к учобе и знанию был для меня закрыт проклятым царизмом.

В БУРЛАКАХ.

Наступила весна. Отец и брат были дома. Всем троим делать было нечего. Когда река Сухона вскрылась ото льда, Гоголицын предложил мне с его сыном поехать бурлаком в Петербург, где зимовали его суда. Я охотно согласился. Мне очень понравился Питер с его фабриками и заводами, с стройными широкими улицами. С вокзала мы отправились на Васильевский остров, где стояли на рейде, против самого Зимнего дворца, две барки Гоголицына. Здесь, на барках, было несколько коренных бурлаков, плававших на судах Гоголицына десятки лет из года в год.

Бурлак Насоновский показал мне Петропавловскую крепость с зияющими жерлами орудий. Мелькнула мысль: «Вот где томятся революционеры, заживо погребенные в застенках. Значит здесь этот знаменитый Алексеевский равелин, где были заживо погребены вернейшие сыны революции...»

С жадностью я присматривался ко всему новому, что увидел в Питере.

Три дня спустя мы приступили к погрузке барж. Надо было спешить, чтобы до спада воды пройти каналы. Приехавший со мной барчук, вместо того чтобы принимать товары, эту работу взвалил на меня, а сам очень весело проводил время в столичных ресторанах. В середине мая погрузка барж была закончена. К барже подошел небольшой винтовой буксирный пароход, причалил ее и повел вверх по течению Невы. Мы все собрались на носу баржи, а шкипер Ивакин встал к рулю. Вот показалась Шлиссельбургская крепость и омывающее ее со всех сторон Ладожское озеро. В устье Ладожского канала нас подцепил другой маленький пароход и повел по каналу. Неожиданно подул сильный северный ветер, гнавший наше судно к берегу, и наш отдых сменился снова каторжной работой. С раннего утра до поздней ночи мы не выпускали шеста из рук. Или выедешь на берег, наденешь на себя лямку, как лошадь, и тянешь барку по каналу или по

берегу реки и против воды и ветра. До того бывало доработаешься с шестом и лямкой, что на ногах не держишься, так и свалишься куда-нибдь голодный и заснешь мертвым сном. Встанешь бывало с восходом солнца. Одежда, вымокшая от дождя, не гнется и стоит лубком, ноги окоченели, зуб на зуб не попадает. Выпьешь стакан горячего чаю, немного отойдешь—и снова за работу. На тридцатые сутки такого путешествия мы благополучно прибыли в Устюг.

После сдачи товаров устюгским купцам мне вместо условленных 17 рублей в месяц выдали 15 рублей и предложили до осени пойти на пароход «Волгарь» матросом. Здесь работа была совсем другая. Часто приходилось шлехтовать паромы леса. Работа была очень опасная, в особенности осенью, когда канаты и лес покрываются тонким слоем льда. Хуже всего—это выезжать на берег с приколом. Прикол—крепкий, большой березовый стяг с большим суком и заостренным концом. Чтобы остановить паром или причалить его к берегу, выезжаешь с приколом на берег, надеваешь петлю каната на сук стяга, а на другой конец наваливаешься телом и бороздишь землю, пока паром не остановится и не пойдет к берегу.

На пароходе «Волгарь» я проработал до конца навигации, то есть, пока он не стал в затон на зимовку. Осенью я поступил на работу в Ми-

хайловский затон, а весной снова водоливом к Гоголицину. После вскрытия Сухоны и Двины от льда и нагрузки баржи балонами меня отправили вместе с баржей в Архангельск. Днем я работал на лесопильном заводе Гайдемана, а свои обязанности водолива исполнял по ночам, работая по 16 часов в сутки..

НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕРФИ.

С наступлением первых заморозков меня рассчитали. Надо было искать новую работу.

Я нанялся чернорабочим на подъемку барж. Это одна из самых опасных работ на судостроительной верфи. Об охране труда не было и помина.

Подъем барж производился так: под обледеневшее дно баржи подводили ваги, огромное дерево, ставили их дыбом, а наверху настилали полати. Такие ваги подводились под борт баржи через каждые шесть метров. На полати влезали люди и нагружали песком эти полати так, что ваги гнулись в дугу. Но баржу трудно тронуть с места, так как дно ее прикипело к песку. Бывало, что кто-нибудь из рабочих перегрузит вагу или дерево попадется гибкое, как пружина, и дело не обходилось без человеческих жертв. Вдруг с шумом и треском ваги с огромной высоты полетят вниз, ударятся о землю и опять кверху, и так качаются иногда це-

лый час. В это время надо усиленно грузить песок на ваги, чтобы перетянуть равновесие и баржу поднять на желаемую высоту. Так, один за другим, суда поднимаются на клетки.

После подъема начиналась подпарка деревянных судов. К бокам днища приколачивались вплотную, одна к другой, рогожи, а под днищем раскладывались жаровни из смоляных дров, чтобы отогреть и высушить промерзшее дно. У жаровень была невыносимая жара, снег под днищем таял и стекал, а на дворе было градусов 20 морозу. Вылезешь из этой коптилки,—так и прохватывает холодом, а оставаться под баржей все время в дыму и жаре нет возможности—задыхаешься. Пока подпариваешь днище баржи, сам прокоптишься, как селедка. От дыму глаза болели и слезились, рабочие ходили с воспаленными веками, плохо видели.

После подпарки начинался плотничий ремонт: вырубались поврежденные места и заменялись новыми. Начиналась и конопатка судов. После первого звонка на обед рабочие бежали со всех сторон, вперегонку, в зимовку. Зимовка,—наскоро и как попало из бревен сложенная изба, надо торопиться, иначе прозеваешь и не попадешь в избу,—тогда обедай на морозе. Рабочие ели промерзлый хлеб, наскоро отхлебывая кипяток из кружки. Редко удавалось разогреть ломоть хлеба перед плитой или топкой и наскоро выпить стакана два чаю.

В холодное время там много набиралось народу в зимовку, при открытых окнах и дверях воздух бывал настолько сперт и удушлив, что рабочие говорили: «хоть топор вешай». Из-за тесноты и духоты в зимовках многие предпочитали обедать под открытым небом, да и на обед-то, как собаке—черствый хлеб! В таких условиях на судостроительной верфи приходилось работать по 12 часов в сутки. Зато нашему брату-революционеру вести агитацию было легко. Соберешь бывало во время подпарки или конопатки под баржой кружок у жаровни. Кругом ни звука, только дерево трещит от мороза и нарушает ночную тишину. Изредка заглянет какой-нибудь «бадожник» (так звали рабочие надсмотрщиков) и разгонит всю компанию, но мы опять соберемся, и целыми часами бывало читаешь товарищам газету или книжку. В зимовке, у костра, во время вечерней переклички или зорянки, я не упускал возможности что-нибудь рассказать товарищам. Рабочие Михайловской судостроительной верфи, Кузинского затона и окружающих деревень хорошо меня знали. Знала меня и администрация: мастера, табельщики и приказчики. Когда моя революционная работа перестала быть тайной для администрации, меня рассчитали и сообщили в другие конторы. На Михайловскую судостроительную верфь меня больше не

принимали. Не давали никакой работы и в Кузинском затоне.

В СТОРОЖАХ.

С большим трудом я нашел работу. Заведующий потребиловкой устроил меня сторожем. Я таскал мешки сахара, кульки соли и ящики, развозил на тележке товары покупателям, выполнял самую черную работу. Сотрудники общества сначала меня встретили недружелюбно, в особенности косилась и ворчала кассирша Дуркина и затыкала нос, когда я проходил мимо, и всем говорила, что от меня пахнет мужиком. И действительно не выветрился еще из одежды запах пеньки, смолы, дыма. Несмотря на то, что сотрудники косились на меня, я работой был доволен и легко с ней справлялся: было у меня время и почитать.

На досуге я ходил домой в деревню. Там мне удалось организовать вокруг себя деревенскую молодежь. Не только молодежь, но и взрослые крестьяне охотно читали книжки, которые я приносил с собой. Ворчало только старичье.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ.

По мере того как крепла и развертывалась революционная работа в городе, и в деревне, правительство усиливало слежку за революцио-

нерами. Царские шпики всюду бродили по пятам. Оставаться дольше в Устюге стало невозможно. Посоветовавшись с товарищами, в конце августа 1910 года, тайно даже от родных, со старым паспортом в руках я бежал в Архангельск. Целую неделю бродил там в поисках работы. В конце концов поступил чернорабочим во фруктово-бакалейный магазин. Работать в магазине приходилось с 7 часов утра до 10—11 часов вечера без всякого выходного дня.

Весной 1911 года я поехал искать работу в Маймаксу, где на заводе Русанова поступил приказчиком в бакалейную лавку Кротова. Здесь покупателями были только рабочие и мелкие служащие, жившие при заводе. Среди них я скоро нашел себе друзей. Сначала я повел революционную работу среди пекарей, а потом и среди заводских рабочих. Но долго работать не пришлось. Заведующий магазином пожаловался хозяину Кротову, что из-за меня рабочие отбились от рук. По распоряжению Кротова, меня перевели на лесопильный завод Норд в маленькую заводскую лавку кассиром, но работу скоро пришлось оставить и перебраться в Архангельск, потому что местная полицейская охрана установила за мной слежку.

Я поступил в бакалейный магазин татарина Шегабутдинова, который поставлял товары в архангельскую пересыльную тюрьму. Архан-

гельские товарищи, чтобы установить письменную связь с политическими заключенными и ссыльно-каторжанами, и послали меня на работу к этому торговцу.

Товары отпускались по спискам, приносимым в лавку тюремными надзирателями, с указанием, кому и сколько надо товаров. По списку и от тюремной охраны легко можно было узнать, кто находится в пересыльной тюрьме, кто куда выбыл, кто прибыл новый из политкаторжан, кого арестовали из местных товарищей. Также легко было установить связь местной организации с обитателями архангельской тюрьмы. Я подкладывал записки в варенье или завертывал какой-нибудь товар в бумагу, исписанную бесцветными чернилами, чтобы не заметила стража. Сначала тюремная охрана ничего не подозревала, потом заподозрела неладное, и архангельская охранка стала следить за служащими Шехабутдинова. Мне пришлось искать другой работы. Я познакомился с капитаном одного английского парохода, на котором отправлялась в Англию пшеницу. На этом пароходе я решил сначала бежать в Англию, а оттуда в Америку, так как дольше оставаться в Архангельске было невозможно. Я купил у матросов английский паспорт на имя матроса Смита и собрал немного денег, готовясь к отплытию.

НЕУДАЧНЫЙ ПОБЕГ.

Все уже было готово для побега, когда я случайно встретился со своей сестрой и зятем. Это была неожиданная встреча, так как писем домой я никому не писал, и никто не знал, что я живу в Архангельске. Сестра мне рассказала, что вскоре после того, как я исчез из Устюга, к нам домой явились жандармы с обыском.

«Книги, которые остались после тебя, были спрятаны на чердаке и во ржи, и брат Павел их почитывал,— рассказывала сестра. —Вот все эти книги и были обнаружены. Тебя разыскать не могли, а брат от ареста отделался тем, что на некоторых книгах нашли пометки с твоими инициалами. Книги все в печке сожгли. А полгода спустя, по чьему-то доносу, жандармы сделали новый обыск, но ничего не нашли, потому что брат сам сжег все уцелевшие книжки.

Искали, рылись, всех допрашивали, где ты живешь, но никто не знал. Напуганные обыском и слежкой, мужики соседних деревень сожгли все твои книжки, которые они читали и хранили у себя».

Выслушав сестру, я понял, почему архангельские шпики (сыщики) не давали мне спокойно работать. Только благодаря частой смене местожительства и работы мне удавалось избежать ареста.

Я послал с сестрой письмо матери, откро-

венно написал, что я собираюсь бежать, и прощался с нею. Пароход «Мария» пришел в последний раз и стал на рейде для погрузки пшеницы с барж и две недели спустя должен был отправиться в Англию.

Прошло несколько дней после отъезда сестры из Архангельска, вдруг является отец. Просит и плачет, чтобы я не покидал родителей.

— Надежды на старшего сына нет, только ты можешь быть кормильцем стариков,—причитал отец.—Дома все спокойно, и от тебя я не поеду до тех пор, пока ты не дашь честное слово, что приедешь осенью домой.

Я вынужден был дать честное слово отцу, что в сентябре приеду в Устюг. Отец уехал домой, ушел и пароход в Англию. Я вспомнил о прошлом, об обыске, о возможности попасть в руки жандармов. Но честное слово, данное отцу, связывало меня. На последнем пароходе я отправился в Устюг, навсегда распростившись с Архангельском.

НА РОДИНЕ.

В конце сентября я приехал в Устюг. Вскоре получаю повестку, извещавшую, что я должен явиться в управление устюгского воинского начальника, как пропустивший год призыва на военную службу. Здесь меня признали годным

для военной службы. Воинский начальник спросил:

— Где хочешь служить, в пехоте, или в кавалерии?

Я ответил:

— Направьте меня в фельдшерскую военную школу.

Но оказалось, что это невозможно. Мне предложили остаться в управлении. После некоторого раздумья, я согласился на предложение воинского начальника, несмотря на то, что здесь нужно было служить лишний год, и решил остаться в Устюге.

Явился я со своим багажом в воинскую команду к фельдфебелю Баеву. Это был небольшой, плотный, сварливый и честолюбивый человек. Он никак не мог примириться со мной и за то, что я звал его не «господин фельдфебель», а просто «Василий Васильевич», сердился и дулся.

В управлении воинского начальника я скоро подружился с писарями и украдкой приносил кое-кому из них книжки и газеты. В начале декабря воинский начальник вызвал меня к себе в кабинет и объявил, что я командируюсь в Ярославль в бригаду, держать экзамен на зауряд-военного чиновника. Выписали аттестат, выдали обмундирование, все было готово для отбытия.

Накануне отъезда меня снова вызвал воинский начальник и задал мне настоящую баню, осыпая яростной бранью—«сволочь, крамольник».

Я понял, что кто-то донес ему о моей причастности к революционной организации.

Полчаса спустя делопроизводитель управления объявил, что утром я должен отправиться к новому месту службы, а не то буду отправлен туда под конвоем. Выдали мне на руки аттестат и маршрут в крепость Ковно, и... в 111-й пехотный Донской полк. Всю ночь я ломал голову, что делать—снова бежать куда-нибудь или ехать добровольно по маршруту? Наконец решил поехать в Ковно, с тем чтобы оттуда бежать в Германию; собрал необходимое белье и книжки, с которыми я не расставался, и отправился в путь.

КРЕПОСТЬ КОВНО.

В крепость Ковно я прибыл в декабре 1912 года. Меня назначили ротным писарем, вместо уходящего в запас армии писаря Рукавицкого. С Рукавицким я сошелся с первых дней. Он познакомил меня с другими товарищами, а также с группой большевиков ковенского гвоздильного завода Тильманса, рассказал о ротном начальстве, о борьбе, которую он вел с ними.

Он был членом РСДРП(б)[1] и в роте организовал небольшую группу.

С собой в полк я вместе с вещами привез много революционных книжек, которые новобранцы разбирали нарасхват. Об этом пронюхала ротная администрация, и, по распоряжению фельдфебеля Алексеева, у всех новобранцев был произведен обыск. Оставшиеся книжки отобрали и у меня, но эти книжки, кроме учебников, в руки фельдфебеля не попали, а разошлись по рукам старых солдат.

Вскоре вслед за мной в штаб 111 Донского полка получились документы о моей политической неблагонадежности, направленные в полк устюгским воинским начальником. В штаб полка вызывали ротного командира Михайлова и фельдфебеля Алексеева и поручили им следить за мной. Меня выгнали из ротной канцелярии, вызвали в канцелярию взводного командира Мистрюкова, отделенного командира Сабурова и Моисеева и сдали меня под их охрану и ответственность.

С тех пор отношение ко мне резко изменилось, некоторые новобранцы и старики стали меня сторониться, опасаясь крамолы, а другие, наоборот, искали случая со мной поболтать. Верные слуги «царя-батюшки» зорко меня сте-

---

[1] Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

регли, я не мог ни на шаг отлучиться без наблюдающего дневального: пойду в уборную или в солдатскую лавочку,—дневальный идет по пятам.

В ротную канцелярию назначили вместо меня другого новобранца, но Рукавицкий добивался, чтобы я заменил его в канцелярии, так как, будучи ротным писарем, я не только освобождался от строевых занятий и от свирепых обучающих и дядек, но имел бы возможность ходить в город и держать связь с ковенской революционной организацией. Назначить меня в канцелярию ротный командир долго не решался. Наконец благодаря настойчивости Рукавицкого меня снова назначили в ротную канцелярию.

Понемногу я начал группировать около себя товарищей из других младших годов. Таким образом в роте, взамен убывшей в запас группы создалась новая ячейка. После окончания строевых занятий, в праздники, или во время обеда, я под разными предлогами собирал товарищей и вел среди них революционную работу. Нужными книгами меня снабжали товарищи, работающие в тильманской организации.

После долгой и упорной работы я смог создать боевую группу и вести революционную работу по ротам и борьбу с разными паразитами, расхищавшими и без того скудный сол-

датский паек. Таким хищником был каждый фельдфебель. Эти негодяи из всего извлекали выгоду. На кухню и в вещевой склад они назначали своих ставленников, заключали разные сделки с поставщиками продуктов, принимая припасы худшего качества или совершенно гнилые продукты. Кроме того они ухитрялись отправлять по ночам на квартиру целые мешки с продуктами. Артельщики и повара следовали примеру своего начальства.

Такое хищничество вызывало недовольство и возмущение солдат. В конце концов мы решили проследить и поймать грабителей. Несколько человек по очереди дежурили ночью. На месте преступления попался фельдфебель Горохи; так звали сверхсрочных подпрапорщиков; вместе с артельщиком и кашеваром они тащили из кухни в мешках сало и рыбу.

Солдаты, поймавшие воров, донесли об этом командиру роты, но вместо того чтобы немедленно убрать фельдфебеля и отдать его под суд, ротный командир отдал под суд всех солдат, принимавших участие в поимке преступников.

Было создано громкое судебное дело, но только не против грабителей, а против солдат, поймавших хищников на месте преступления. Их обвиняли в том, что они нарушили военную дисциплину и посягнули на своего начальника. Восемь товарищей полковым судом были при-

говорены к трем годам дисциплинарного батальона.

Это судебное дело показало солдатской массе, кто их враги, и многим открыло глаза и дало большой толчок для революционной работы. Дисциплина упала, фельдфебели и командный состав боялись показываться по ночам в роту, всюду по ротам 2-го и 3-го батальонов собирались по ночам кружки солдат и горячо обсуждали возмутительное решение суда.

БОРЬБА.

Судебный процесс, вызвавший негодование всей солдатской массы, не только не укрепил палочную дисциплину, а еще больше расшатал ее. Появились самовольные отлучки, отказы обучаться военному делу.

Молодой солдат Седнев объявил себя евангелистом и отказался взять в руки боевую винтовку. Сколько ни увещевали его фельдфебель и командир роты, Седнев был непоколебим. Ротное начальство обратилось к полковому попу, чтобы тот воздействовал на Седнева, но и поп ничего с ним поделать не мог. Седнев решительно заявил:

— Служить буду, буду нести наряды и другие обязанности, но винтовки в руки не возьму и военщине учиться не стану, ибо я по евангелию не должен убивать своих братьев!

Однажды четвертый взвод вышел на плац производить занятие. Принесли три соломенных чучела для обучения молодых солдат штыковым ударам. У некоторых выходило плохо. Тогда Седнев, стоявший недалеко от чучела, подскочил к одному солдату, взял у него винтовку и стал наносить по чучелу удар за ударом. Из окна помещения роты я заметил, как Седнев взял винтовку в руки и готовится к штыковому удару. Я выбежал на улицу и закричал:

— Седнев, где разносная книга?

И показал ему глазами на винтовку.

Седнев побледнел, как полотно, и отдал винтовку рядом стоящему солдату. Это все прошло как-то незаметно для обучающего, а то достаточно было одного рапорта командира роты, и Седнев пошел бы на каторгу.

Хозяином роты был фельдфебель Алексеев, небольшой, плотный человек, с большими оттопыренными щетинистыми усами, с маленькими медвежьими глазками, с лысиной во всю голову. Характер у него был невыносимо грубый, самодовольный, он был вором и взяточником, не только не брезговал заключать сделки с поставщиками, но даже брал рублевые взятки от солдат. Кому нужно было поехать в отпуск, откупались от него взяткой, а иначе он никуда не отпускал. За взятку солдат мог быть и артельщиком, и каптенармусом даже кашевар-

ефрейтором. Если он просил взятку, а взятку не давали, он мог довести человека до могилы. Вот с ним-то я и повел длительную и упорную борьбу.

Он меня ненавидел и искал предлог мне отомстить. Но все его жалобы на меня дальше ротного командира не шли.

Однажды в субботу я собрался пойти в рабочий клуб завода Тильманса на семейный вечер, чтобы переговорить с товарищами. Ротный командир подписал мне увольнительную записку до часу ночи. После занятий я пошел одеваться. Вдруг входит фельдфебель Алексеев.

— Ты куда собираешься?

— В штаб полка, а потом—к ротному командиру с пакетами.

Он гневно блеснул на меня глазами, усы его оттопырились и встали, как щетина у ежа. Он начал меня упрекать, что я его, своего прямого и непосредственного начальника,—никогда не спрашиваюсь, что подрываю к нему доверие командира, настраиваю против него солдат. Бешенство все накипало в нем.

— Я тебе приказываю никуда сегодня не ходить!—крикнул он и вышел из роты.

У меня в кармане было разрешение ротного командира и мне было наплевать на фельдфебеля, я решил его еще позлить. Пошел к нему на квартиру. Прихожу, Алексеев одевается.

— Разрешите пойти в город!

Алексеев ехидно улыбнулся:

— Вот я оденусь и пойдем со мной обратно в роту, а там со всеми в церковь.

Он прекрасно знал, что я неверующий, и должно быть решил поиздеваться. Кровь прилила мне к лицу, сердце забилось. Я сказал, что в церковь не пойду и идолам молиться не буду, а пойду в город. Вскипел и фельдфебель. Я круто повернулся и, выйдя от него, быстрым и решительным шагом направился к городу. Я знал, что мое столкновение с ним не пройдет гладко, а потому был осторожен: вернулся в роту без 10 минут час и попросил дежурного при мне же отметить в увольнительной дежурной книге время прихода.

Пошел к себе в канцелярию и только лег спать, вдруг в комнате фельдфебеля скрипнула дверь. Смотрю—выходит фельдфебель, направляется к дежурному по роте и справляется о времени моего прибытия в роту. Надо сказать, что Алексеев никогда до этого времени не ночевал в роте, а жил с семьей на частной квартире. Смотрю, наутро фельдфебель дуется и не разговаривает, а я у него опять ничего не спрашиваю, а делаю свое дело.

Ротный командир уже на пятый день после случая с фельдфебелем спросил у меня:

— За что фельдфебель Алексеев хочет тебя отдать на каторжные работы?

Меня этот вопрос ошеломил.

— Не знаю, может быть, за то, что я отказался пойти в церковь и ушел в город по вашей увольнительной записке.

Ротный командир Михайлов был либерально настроенный офицер, происходил из небогатой семьи. Он снисходительно относился к мелким проступкам солдат, но зато беспощадно карал за воровство.

Алексеев видел, что его донос не подействовал, а обжаловать действия командира роты не решался. Вскоре под предлогом болезни он подал в отставку и уехал совсем из Ковно. Вся рота была рада, что я остался победителем.

СТРЕЛЬБА ПО ГЕНЕРАЛУ ЛАШКЕВИЧУ.

В это время начальником 28-й пехотной дивизии был генерал Лашкевич. Лашкевича боялись не только офицеры 28-й дивизии, но и других частей. А солдатам всего гарнизона он не давал проходу. Не попадайся лучше навстречу, а то неизбежно попадешь на гарнизонную гауптвахту. Особенно он мучил солдат частыми маневрами, изводил их муштровкой. С подчиненными он был невыносимо груб и жесток. Солдаты его ненавидели.

Это было в марте 1914 года.

Рано утром нашему полку было приказано в полном боевом обмундировании выступить на

дивизионные маневры. Роздали всем холостые, бумажные патроны по две пачки, я же захватил с собой обойму и с боевыми патронами. Наш полк рассыпался по берегу реки Немана, а от реки Вилейки наступали роты Камского полка. Линии «неприятеля» приблизились на 600—800 шагов. Лашкевич со своей свитой с самой вершины горы наблюдал за наступлением. Нашему полку приказано было лечь на снег, и открыть стрельбу. Начался бой.

— Ну,—подумал я, глядя в ту сторону, где расположился штаб Лашкевича.—Хоть раз тебя проучу. Не изводи солдат!

Я наскоро выпустил обойму бумажных пуль, вторую обойму вложил с боевыми патронами и открыл стрельбу по штабу Лашкевича. Пули стали падать вблизи его свиты.

Наскоро выпустив обойму с боевыми патронами, я снова зарядил винтовку холостыми, с тем чтобы успеть выпустить еще несколько патронов и тем скрыть следы от патронов боевых. Выпущенные гильзы от боевых патронов и самую обойму я зарыл в снег.

Испуганный генерал приказал горнистам дать отбой, который своей неожиданностью вызвал переполох в частях. Все были в недоумении, а что случилось,—никто не знал.

Лашкевич, вне себя от злобы, распорядился вызвать командиров полков, батальонов и рот и приказал проверить винтовки и сумки солдат.

Нас всех выстроили в шеренги, приказали открыть у винтовок затворы и патронные сумки. Проверили, сосчитали у каждого оставшиеся патроны и проверили гильзы все было благополучно. Маневры были немедленно закончены и больше уже не повторялись. По прибытии в роту винтовки у всех были исследованы, но ничего обнаружить не могли. И вполне понятно: когда сначала стреляют холостыми патронами, с бумажными пулями, после них боевыми, а потом опять холостыми, следы от боевых пуль скрываются, и в стволе винтовки остается от холостых пуль особый налет. Так Лашкевич и не смог обнаружить виновника переполоха.

ВОЙНА.

Революционная работа в казармах не прекращалась. Революционеры повели новую кампанию. Мы разъясняли солдатам, что нужно делать в случае, если пошлют нас подавлять рабочее или крестьянское восстание. Мы учили, что солдаты не должны стрелять в своих отцов и братьев, а должны направить штыки на наших палачей и перейти на сторону восставших рабочих и крестьян.

Групповую работу вести в ротах и казармах было совершенно невозможно. Обрабатывать солдат можно было только в одиночку и то

весьма осторожно, ибо несознательной солдатской братии, готовой ради ефрейторского лычка или унтерофицерского галуна предать товарища, было немало. Для того чтобы провести маленькое групповое собрание или поговорить по душам с группой товарищей, приходилось уходить из полка в лес «Зеленая гора» или на старое литовское кладбище около Муравьевского лагеря.

Неожиданно для всех, в самый разгар лагерного сбора, нам было приказано в 24 часа сложить солдатские палатки и выступить на зимние квартиры.

На зимних квартирах наш полк пробыл недолго, получив новый приказ немедленно выступить из Ковно и двинуться по направлению к Сувалкам. Теперь было всем ясно, что назрела новая империалистическая война и столкновение с Германией неизбежно. Не доходя до Сувалок, приказано было остановиться и вырыть блиндажные окопы.

Передо мною и моими единомышленниками во весь рост встала новая задача: объявить «войну войне», доказать, что трудящиеся должны отказаться от войны за интересы и выгоды богачей и пойти войной против угнетателей-капиталистов.

Пользуясь отсутствием в окопах начальства, которое жило в деревенских хатах, я стал убеждать товарищей, что мы идем на войну и

ставим на карту свою жизнь и благополучие семьи, оставляем жен и детей ради хищнических интересов и выгод крупной буржуазии. Мы идем убивать, как палачи, своих братьев, таких же рабочих и крестьян, как и мы сами, с той лишь разницей, что они находятся по ту сторону траншей и окопов и говорят на непонятном для нас языке. Войну затеяли капиталисты, она им выгодна, потому что они надеются увеличить свои барыши. Мы должны при первой возможности обратить свое оружие против наших общих врагов—помещиков и капиталистов, своих и чужих.

Нашему полку было приказано сняться с позиций и двинуться по направлению к Восточной Пруссии. Мы все двигались дальше и дальше на запад, не встречая ни одного немецкого солдата.

Только в ночь на седьмое августа была замечена разведка противника, а потом и передовые части. На рассвете 7-го августа 2-му батальону было приказано занять деревню Ужбалино.

Перед наступлением я получил приказ от ротного командира со своей канцелярией отправиться в обоз первого разряда, где мне дали патронную двуколку и троих запасных солдат. Батальон выстроился в цепь и пошел в наступление, а я со своими ребятами на расстоянии километра поехал вслед за наступающей ротой.

Немцы, заметив наши цепи, открыли по ним шрапнельный огонь, но цепи продолжали двигаться вперед, и наконец батальон занял деревню. Немцы подошли вплотную, и завязался бой, деревня стала обстреливаться ураганным артиллерийским огнем.

Нас захватила в плен кавалерия неприятеля, и я, в числе других товарищей, был отведен в какой-то немецкий штаб. Вскоре нас отвели под конвоем на станцию, посадили в товарный вагон и отправили внутрь Германии. Утром нас высадили на станции Гольбе и разместили в одном из заводских зданий заброшенного кирпичного завода.

КАК МЫ ЖИЛИ В ПЛЕНУ У НЕМЦЕВ.

Лагерь Гольбе помещался в пустующем и полуразрушенном кирпичном заводе с сохранившимися еще кирпичными бараками. Это были очень низкие, длинные деревянные сараи, приспособленные для сушки кирпича. Нас всех разместили в одном каменном заводском доме, служившем повидимому когда-то рабочей казармой, приставили к нам охрану. Так мы зажили новой жизнью.

Отношение к нам резко изменилось, когда было получено известие, что русская армия вторглась в Восточную Пруссию.

Жандармский караул был заменен военным.

Нас держали как в тюрьме, обращение было грубое. Вскоре к нам привели новую партию арестованных. Здесь были литовцы, поляки, белоруссы и украинцы. Как потом выяснилось, они бежали в Германию от царско-помещичьего произвола. Все они работали в Восточной Пруссии, как батраки—кто у помещиков, а кто у богатых крестьян. Их арестовали, как русских подданных, в момент объявления войны. Новые товарищи поделились с нами новостями немецких газет о войне, о победах и поражениях русской армии.

В средине октября на кирпичный завод, где мы жили, привели целую армию русских военнопленных. Тут была пехота, кавалерия, артиллерия, саперы и казаки, одним словом солдаты всех видов оружия. Все они попали в плен под Кенигсбергом, после поражения первой русской армии Рененкампфа. Десятитысячную армию военнопленных и нашу небольшую сборную команду разместили по сараям. Завод ожил, задымила фабричная труба; но обитателями этого завода были изнуренные, измученные долгими переходами и голодом, оборванные русские солдаты.

Немцы весь лагерь обнесли высоким деревянным забором и тройными проволочными заграждениями, кроме того каждый сарай обнесли также колючей проволокой, чтобы один барак

не мог сообщаться с другим и чтобы нельзя было напасть на охрану.

Вскоре немцы привезли к нам в бараки тюки древесных стружек и, как добрые хозяева для своих свиней, настлали в свинарник соломы — делай себе гнездо, а если холодно, зарывайся в нее. Правда, лежать на голой, ничем не прикрытой земле было еще хуже. Кирпичную, смешанную с цементом, едкую пыль заменил хороший древесный запах, но это удовольствие было не надолго.

Скоро все стружки превратились в порошок и смешались с песком и пылью. Так мы валялись, пока в декабре не настлали дощатый пол; о матрацах и одеждах нельзя было и мечтать.

Кормили военнопленных горьким, остывшим утренним кофе, грязным картофельным или брюквенным супом или похлебкой с перловой крупой, где «крупинка за крупинкой гонялась с дубинкой». Похлебка была наполовину смешана с углем и песком. Давали еще фунтовой кусок хлеба, покрытый налетом плесени. Соломенная, костяная, древесная мука и эстляндский мох,—вот из чего состоял хлеб, которым нас кормили. Изредка выдавали кровяную порченую колбасу и тухлый смалец.

Два раза в неделю вместо обеда нас угощали ржавыми селедками и в день выдачи селедок запирали в водопроводе воду. Люди, одичавшие и опухшие от голода, с волчьей

жадностью набрасывались на выдаваемый паек и мигом уничтожили его. Только немногие делили этот скудный паек на порции. В день, когда на обед выдавались селедки, люди сутки мучились жаждой. Бывало, кто побойчее, запасется водой, а потом, после селедки, всю ночь и дует сырую воду.

Тут еще начались заморозки, а люди остались на зиму в одних гимнастерках и в рваных, с вылезшими пальцами, сапогах, без фуражек и шинелей. Гонимые голодом и холодом, пленные старались согреться, собираясь вместе. Людей было так много и теснота была такая, что приходилось лежать на боку; чтобы повернуться на другой бок, будишь всех и под команду ворочаешься. Грязь, голод и неимоверная теснота породили миллиарды насекомых. Вши так и ползали на виду по одежде и даже по стенам. Я помню, как один сельский учитель был настолько поражен вшами, что из культурного человека превратился в зверя. Скорчившись в три погибели, прижавшись к барачному столбу, он задремывал ненадолго, а потом опять принимался ходить, паразиты не давали ему ни спать, ни лежать. Товарищи силой снимали с него мундир, вешали над костром и сметали насекомых метлой, или его одежду зарывали в землю. Но ничего не помогало. На другой день опять набиралось столько же. Так он и умер, заеденный вшами. А сколько еще таких было в ла-

гере! Никто не мог избавиться от паразитов, у всех они тысячами кишели. Единственная борьба с ними—это огонь. Разложишь костер из стружек, снимешь рубаху, тряхнешь над огнем—затрещит только. Люди, изнуренные грязью, паразитами, голодом и холодом, падали в изнеможении и умирали без всякой помощи.

Вместо того чтобы переменить или продезинфицировать одежду пленных, устроить баню, дать возможность выстирать свое белье, немцы придумали в ноябре и декабре месяце при пяти градусах мороза купать военнопленных в озере. А того, кто отказывался, толкали в воду силой. Истощенные люди простуживались в ледяной воде и гибли, как мухи.

А то по воскресеньям, при пяти градусах мороза, военнопленных выгоняли из бараков на плац, где приказывали раздеваться и бить вшей. Немецкие буржуи—приходили сюда с женами, детьми и знакомыми полюбоваться зрелищем и запечатлеть его на фотографической пластинке или в кинокартине, а потом показывали своему народу, с кем они воюют, и пугали, что в случае поражения Германии эти дикари уничтожат немецкую культуру.

Действительно изнуренные грязью, паразитами, голодом и холодом, мы все превратились в диких зверей. Все было нипочем, лишь бы только поесть, хотя бы это стоило жизни. Все

это и нужно было немецкой буржуазии. Ей нужно было русских солдат превратить в орду дикарей, а потом показывать их народу, с какими дикими зверьми воюет Германия, чтобы разжечь патриотизм немецких обывателей и внушить массам ненависть к врагу. Вот к каким уловкам прибегала немецкая буржуазия, чтобы обмануть свой народ.

Лагерная охрана состояла в большинстве своем из солдат, отличившихся в бою, из купеческих сынков, бывших зажиточных торговцев и так далее. Понятна та жестокость, с какой они относились к пленным, рабочим и крестьянам. Среди солдат этой охраны изредка попадались бывшие учителя и рабочие, которые сочувствовали пленным, старались облегчить их жизнь. Но таких людей из охраны мигом снимали и усылали на фронт или садили в казематы.

ПРЕДАТЕЛИ.

С первых дней прибытия пленных на проклятый полуразрушенный завод, из всей солдатской массы выделилась группа прибалтийских буржуазных дельцов и проходимцев. Они сделались переводчиками. Не было дня, чтобы у кого-нибудь из военнопленных, по указанию переводчика, не делали обыска. Искали денег, оружия, табаку. Не проходило ни одного дня,

чтобы десятки пленных не оставались без хлеба, пищи и воды. Охрана и переводчики делали обыски, для того чтобы выловить ценности, съэкономить хлеб и пищу, а потом эти блага поделить между собой.

Пользуясь запрещением курить, русские «долмичеры» посредством своих холуев спекулировали табаком, который продавали они в сто раз дороже нормальной цены, а когда замечали курящих, то жестоко с ними расправлялись. Избивали нагайками и обрекали на голод, а отбираемый паек попадал в руки этих же «долмичеров». Произвол немецких и русских палачей был безграничен. Достаточно было пьяному переводчику указать на кого-нибудь и сказать, что это казак, как без всякого суда и разбирательства этого человека выводили за лагерь, на опушку соснового леса, и там расстреливали. Расстреливали не только в одиночку, но и группами. Переводчики были выделены из общей солдатской массы и за счет других поставлены на двойную порцию.

Так в лагере Гольбе создался привилегированный класс палачей и холуев, расхищавших пищу и не брезговавших убийствами. Лагерь пленных разделился на два класса, ненавидящих друг друга.

Среди пленных находились такие люди, которые готовы были отнять последний кусок хлеба и обречь любого из своих соседей на

голодную смерть, лишь бы самим быть сытыми, одетыми и сделать кое-какие сбережения. Ненависть рядовой солдатской массы к своим палачам все росла. Изнуренные голодом люди, доведенные до исступления, готовы были в любую минуту броситься на немецкие штыки, колючую проволоку, но прежде всего покончить с переводчиками—победить или погибнуть. Предатели тоже были настороже и за лишний черпак супа или кусок хлеба выдавали непокорных в руки немецких палачей, а те жестоко расправлялись с ними. В число таких жертв попал и я.

ГОЛОДОВКА.

Жизнь сделалась невыносимой. Грязные, голодные и изнуренные люди заболевали тифом, цынгой, туберкулезом и падали и гибли, как отравленные мухи. В девятитысячном лагере не было ни одного фельдшера, не было лекарств.

Рядом со мной спал один литовец, артиллерист, человек огромного роста. От этого великана остался только один скелет, обтянутый кожей, с пролежнями на боках. Я помню, вместо обеда выдали нам по две ржавых шотландских селедки. Мой сосед мигом их уничтожил. Так как воду на ночь запирали, то он сделал большой запас ее, в чем только мог, и даже налил в сапоги, и всю ночь пил. В восемь часов

утра, как обыкновенно, выдавали порцию хлеба и горький кофе. Все выстроились, а мой сосед лежал неподвижно. Я наклонился к нему, чтобы разбудить, но он уж был мертв. Смерть товарища самым удручающим образом подействовала на весь барак. Все молчали, только чей-то одинокий голос подавленно сказал: «Теперь очередь за нами»...

Но когда люди, подкошенные голодом и болезнями, начали падать один за другим, оставшиеся в живых стали относиться к этому, как к обыкновенному явлению.

Здесь же, в бараке, я подружился с сапожником Пименовым. Посоветовавшись с ним, я стал переписываться с товарищами. Бывало так, достанешь случайно у хорошего немецкого солдата-часового бумаги. Напишешь письмо на клочке бумаги, привяжешь к камушку и перебросишь через барак, а там снова товарищ перебросит в следующий барак или просунет в барачную щель. Так мы с товарищем Пименовым списались со всеми товарищами и просили их, чтобы они поддержали товарищей и на 1-е января 1915 года объявили голодовку. Мы требовали: 1) улучшить питание; 2) устроить баню; 3) выдать каждому по матрацу, по одеялу и по две смены белья; 4) произвести дезинфекцию бараков и вещей; 5) открыть в лагере лазарет с русскими врачами; 6) назначить из пленных в каждый барак по одному фельдшеру, снабдив

его аптечкой и перевязочными материалами; 7) установить контроль пленных на кухне; 8) в каждом бараке избрать уполномоченных для контроля над переводчиками и защиты пленных; 9) воду не запирать; 10) вызвать в лагерь для ознакомления американского консула.

Эти справедливые требования были подхвачены всей массой пленников.

Рано утром, во время прогулки, я услышал условный стук из соседнего барака. Осмотрелся кругом, часового нет. Подошел к стенке соседнего барака, несмотря на то, что это запрещалось; мой товарищ Савлитов сказал мне, что в первых бараках все готово и через щель, из-под крыши, спустил ко мне письмо от товарищей. Я быстро подхватил его, но Савлитов снова постучал, чтобы я взял от него маленькую писульку. Только я поднял руку, чтобы взять второе письмо, как из-за угла барака вышел часовой.

— Хальт (стой)!

И взял на изготовку винтовку.

Вокруг не было ни души, только в отдалении заметил я переводчика. Меня и часового разделяло проволочное заграждение, я бросился бежать в барак. Поспешно уничтожили первую записку, а вторую, в которой Савлитов поздравлял меня с новым годом, на всякий случай оставил у себя. Часовой стрелять по напра-

влению барака не стал, так как шальная пуля могла уложить десяток невинных, но он поднял тревогу. Немцы встревожились и окружили со всех сторон наш лагерь, а людей выстроили перед бараками. Весь 19-й лагерь гудел. Пленники пищи не принимали, а требовали улучшения.

ПАЛАЧИ.

Немецкий фельдфебель, бывший чинуша, судебный пристав, вместе с русскими палачами, переводчиками Либеком и Маркусом, стали допытываться у всех поодиночке, кто был у стены барака и разговаривал. Доносчику была обещана двойная порция хлеба и супу.

Из строя, не торопясь, вышел переводчик, и без того сытый от подачек, и очень спокойно предал меня за лишний черпак супу.

Меня арестовали и под конвоем повели к коменданту лагеря. Здесь меня обыскали, но ничего не нашли, кроме записки, в которой товарищ Савлитов поздравлял меня с новым годом. Меня обвинили в том, что я организовал голодовку, но улик налицо не было.

Немецкий офицер угрожал мне револьвером и обнаженной шашкой, но не мог от меня ничего добиться. Избили меня до потери сознания. Я только твердил:

— Ничего не знаю, ничего не получал, кроме этой записки.

Я хорошо понимал, что признайся я, расправа надо мной будет короткая: пуля на опушке соснового леса. После долгих пыток комендант потерял терпение, выругался и приказал три дня подряд, во время обеда, в наказание привязывать меня к трем кольцам на весу.

Весь лагерь шумел, люди с ропотом стеснились у проволочных заграждений. Тысячи голосов кричали: «Дайте хлеба! Дайте врачей! Дайте пить!» В ответ на эти требования, на эти крики врывались купеческие сынки, одетые в солдатские шинели, избивали пленных ремневыми хлыстами и резиновыми палками со свинцовыми наконечниками.

Меня подвесили, привязав к трем кольцам, так что вывернулись руки в кистях и плечах. От мучительной боли в позвоночнике и пояснице я лишился чувств. Только вечером опомнился. Открыл глаза, поднял руку, провел по лицу, по голове и одежде—все было мокро, а из кистей рук сочилась алая кровь. Спросил слабым голосом:

— Что со мной?

Товарищи говорят:

— Тебя немецкие солдаты принесли без чувств, облили холодной водой и бросили в барак.

Так повторялось три дня.

Но голод и пытки не могли меня сломить. Я был попрежнему здоров, потому что совсем

не курил, по утрам и перед сном делал гимнастику и гулял, пищу, как бы она ни была худа и мала, не съедал сразу, а распределял на три части, оставляя на обед и ужин.

На другой день голодовки некоторые бараки не вытерпели и согласились получить пищу. Но большинство пленных продолжало голодать. Более слабые не могли двигаться и лежали, а многие сотни совсем не вынесли и погибли. Пленные возмущались и требовали, чтобы с ними обращались по-человечески.

Наконец в лагери прикатила комиссия, и генералы, и штатские. Комендант обещал улучшить положение пленных.

Голодовка кончилась. Пища улучшилась, стали давать сладкий кофе, но порция хлеба осталась прежней. Выдали каждому по матрацу и одеялу, по паре белья и по очереди стали производить дезинфекцию и водить нас в баню. Вскоре открыли лазарет с русскими врачами. Словом требования наши были удовлетворены почти полностью. Но нам, зачинщикам голодовки, смелость наша даром не прошла.

НА КАТОРЖНЫХ РАБОТАХ.

Чтобы расправиться со всеми организаторами и активными участниками объявления голодовки, немецкие палачи, с помощью русских переводчиков, выловили из девятитысячного

лагеря пятьсот человек, в том числе и меня, посадили в товарные вагоны, заперли и повезли в неизвестном направлении.

После двухнедельного путешествия нас привезли в Северную Францию, занятую немецкими войсками, и разместили в одном старом французском имении. Так мы навсегда простились с лагерем Гольбе.

Наш новый небольшой лагерь на другой день нашего прибытия был обнесен проволочным заграждением и высоким деревянным забором. Мы попали в настоящую каторжную тюрьму.

Там нас разбили на четыре роты, в каждой по сто двадцать пять человек, и каждой такой роте отвели отдельную конюшню, где постелью служил конский навоз. Хлеб выдавали попрежнему из всяких несъедобных смесей, в таком же количестве, как и в Гольбе. По утрам давали по литру тепленького чаю из березовых листьев или брусничных корней с сахарином. В обед приготовляли похлебку из потрохов, варили нечищенные желудки убитых на фронте или павших лошадей или других животных, а то протухшие отбросы, оставшиеся от кухни немецких солдат.

Отвратительное зловоние наполняло весь лагерь. Есть такой суп было невозможно, но голод пересиливал отвращение.

Мы старались добывать себе пищу на стороне. Выроешь где-нибудь картошку или ка-

кой-нибудь овощ и с жадностью голодного зверя уничтожаешь его. Или бывало отнимешь у лошади овес, сваришь его в какой-нибудь жестянке и так и глотаешь целиком с шелухой. Теперь вспомнишь, в озноб ударит, мурашки побегут по спине, но даже нечищенный овес был лучше вонючего супа.

Под конвоем, небольшими партиями в 20—30 человек, нас заставляли чистить или исправлять шоссейные дороги, добывать камни в каменоломнях, или разбирать французские дома, а то рубить дубовый лес, который самым хищническим образом вывозился Германией из занятых французских местностей вглубь страны.

Так мы работали под постоянным конвоем, не зная отдыха, изо дня в день, из недели в неделю, с 5-ти часов утра до 10—11 часов ночи, одним словом, как заблагорассудится конвоирам, подгонявшим нас прикладами и штыками. Дождь, слякоть—все было нипочем. Промокнешь до нитки, и трясешься и щелкаешь зубами, пока не высушишь одежду своим собственным теплом, погреться негде было да и нечем. За малейшее непослушание избивали до полусмерти. Здесь, на фронте, жаловаться было некому.

ПОБОИЩЕ.

По ночам, задыхаясь от смрада и зловония в своих конюшнях, пленники думали одно: «Так жить нельзя!» «Лучше разом умереть!»

Было ясно,—мы еще протянем два-три месяца, а потом свалимся, как падает надорванная лошадь.

Я с товарищами Савлитовым, Пименовым и другими повели работу среди пленных. Стали уговаривать товарищей отказаться от работы и гнилой пищи и требовать отправки вглубь Германии. Это нам скоро удалось.

В установленный день, во время утренней получки пищи, еще до отправки на работу, выстроившись по ротам, мы все, как один, отказались получать пищу и потребовали немедленной отправки отсюда внутрь Германии, или на полевые работы, заявив, что для войны мы работать не будем.

Сначала немцы нас уговаривали получить пищу и пойти на работу, обещая положение улучшить. Мы, зная цену этим уговорам, были непоколебимы.

Комендант лагеря, офицер Кауфманн, вечно пьяный, с подпухшими глазами, приказал занять входы в конюшни и вызвал две роты солдат, которые молча и быстро построились перед нашими колоннами в две шеренги и на наших глазах надели на винтовки штыки.

Комендант лагеря опять обратился к нам, угрожая принять военные меры, если мы откажемся от пищи и не выйдем на работу. Через переводчика мы ответили:

— Расстреляйте нас, но мы на работу не пойдем. Лучше умереть сразу, чем подыхать постепенно!

Озверевший пьяный офицер хрипло отдал команду. Две роты немецких солдат, под барабанный бой, бросились на беззащитных безоружных людей.

Началось побоище. Кололи, били прикладами, стреляли. Десятки пленных свалились с выпущенными кишками и с размозженными черепами. В этой свалке попало и мне. Я был сбит штыком в грудь, но меня спасла скатка из шинели, рана была неглубока, но след от нее остался у меня навсегда.

После зверской расправы немцы выдали нам матрацы, сделали в конюшнях койки, улучшили пищу, открыли в лагере лавочку и устроили околодок, но внутрь Германии нас не отправили и заставили снова работать в каменоломнях Эльзас-Лотарингии.

НОВЫЙ ПОБЕГ

В январе 1916 года немецкая армия готовилась к наступлению на французскую крепость Верден.

Днем и ночью по всем шоссейным дорогам беспрестанно двигались немецкие войска, начиная с пехоты и кончая крупной 42-санти-

метровой артиллерией, посылавшей свои «чемоданы»[1] прямо в Париж.

Всюду рыли блиндажные окопы, траншеи, возводили искусно замаскированные укрепления. В лесу строили солдатские бараки и проводили узкоколейные железные дороги, доставлявшие на передовые позиции не только продовольствие и амуницию, но патроны и снаряды, незаметно для противника. Там же, в дубовых рощах, устраивались крупные артиллерийские склады. По мере того как немецкие войска скоплялись под Верденом, стягивалась туда и армия русских военнопленных.

Вся линия Верденского фронта покрылась сетью небольших лагерей пленных, обслуживающих тыл. Когда открылся ожесточенный бой, команды пленных отправляли на передовые позиции, где пленные должны были рыть окопы и волчьи ямы, проводить проволочные заграждения, разгружать снаряды, подбирать раненых и наконец подносить патроны.

Фронт был так близко от лагерей, что пленные почти в упор обстреливались французами.

По утрам нас всех по наряду фельдфебеля развозили в крытых санитарных грузовиках по разным направлениям. Французская артиллерия нередко обстреливала санитарные грузовики и превращала их в щепки. Иногда нам приходи-

[1] Снаряды очень крупных орудий, изобретенных в Германии во время войны.

лось работать под ураганным огнем артиллерии, спасая разбитые батареи и снаряды и подбирая раненых, перебегая из воронки в воронку. Каждый день уносил все новые и новые жертвы.

Мне пришлось быть один раз на передовой позиции, и я видал, как по сигналу французского самолёта французской артиллерией был уничтожен самый крупный артиллерийский склад в этой местности. Немецкие снаряды взлетели на воздух так, что в окрестности на 12 километров в домах были разбиты стекла.

Трехмиллионная немецкая армия вела изо дня в день наступление. Артиллерийская канонада не стихала ни днём, ни ночью в течение тридцати суток. 10 тысяч немецких орудий обстреливали французские позиции.

Кровь рабочих и крестьян лилась рекой ради того, что крупной буржуазии нужны были рынки для сбыта товаров и сырья для фабрик и заводов. Почти все северо-восточные форты Вердена были взяты немецкими войсками, но главный форт Даумонт продолжал держаться. С одной только немецкой стороны пало под Верденом около миллиона человек убитых и раненых солдат.

Мы с Пименовым и Савлитовым решили подобрать стойких товарищей и отказаться от работы. На всю массу пленных надеяться было нельзя, так как многие из них не решались

вторично выступить. Из 500 человек нам удалось навербовать 25 самоотверженных товарищей, готовых в любую минуту отказаться от работы, но нас разъединили.

Пименова с группой в 20 человек по наряду увезли в санитарном грузовике, а меня с Савлитовым с тридцатью пленными отправили в другом направлении.

Вечером, по возвращении с работы, мне и Савлитову рассказали, что Пименов с товарищами арестован и заточен в подземелье на 40 суток. Эта весть, как ножом, ударила меня в сердце. Я хорошо знал, что значит сырое, темное, глубокое подземелье, да еще зимой, без одежды и горячей пищи,—лучше смерть, чем эта пытка! Ни один здоровый человек не был в состоянии вынести 40 дней такого заключения. Пименова с товарищами,—рассказали мне,—посадили в этот колодец за то, что они на позиции решительно отказались подносить патроны. Их тут же хотели расстрелять, но в это дело вмешался случайно оказавшийся начальник дивизии, который заменил им смертную казнь 40-дневным заключением в подземелье.

В тот же день вечером мы с Савлитовым решили во что бы то ни стало бежать отсюда, хотя бы это стоило жизни, потому что другого исхода не было: или ждать добровольной пули на опушке леса, или быть на свободе, или по-

виснуть на проволоке, но не сдаться живьем палачам Вильгельма II.

На другой день на наше счастье по наряду фельдфебеля лагерей небольшая группа пленных должна была пойти в тыл для исправления шоссе. Мы с Савлитовым поменялись с двумя товарищами работой. Тыловые работы нам были выгоднее, потому что мы могли ознакомиться с местностью и переправой через речку, которую нам нужно было перейти и наметить свой ближайший путь.

Вечером, по возвращении с работы, нам удалось стащить у немецких солдат небольшую географическую карту и ножницы, разрезающие проволочные заграждения. Мы вместе выработали план побега и в 9 часов вечера, воспользовавшись дождем, с запасом продовольствия, проползли мимо будки часового, где он спасался от ливня. В 10 шагах позади него мы перерезали проволочное заграждение, голыми руками подрыли деревянный забор и вышли на свободу.

ГИБЕЛЬ САВЛИТОВА.

В 10 часов вечера 1 марта 1916 года мы с Савлитовым были на свободе и бежали к месту переправы. Долго мы провозились над деревянным плотом, но стащить его с берега сил не хватило. Итти же в соседнюю деревню было

опасно, так как мы снова могли попасть в лапы немецкой буржуазии.

Мы пошли вверх по течению, добрались до небольшого моста и, осмотревшись кругом, тихо крадучись перебрались через мост никем незамеченные и быстро побежали вперед. Дорога поднималась в гору.

Вдруг в непроглядной темноте блеснул огонек и осветил батареи и силуэт немецкого часового, стоявшего на посту.

Мы замерли на месте.

Немец повидимому услышал поблизости шорох и шлепанье по грязи и зажег карманный электрический фонарик. Огонек вспыхнул и погас. Мы бросились бежать в лес, но в лесу,—чего мы не ожидали,—были построены солдатские бараки. Делать было нечего,—пришлось ползти мимо них. Наконец мы благополучно выбрались на опушку леса, миновали последние препятствия и снова пустились бегом вперед по направлению к Лонгвену, с тем, чтобы оттуда направиться на крепость Мец, а потом на Страсбург, наконец в Швейцарию.

На рассвете мы добрались до Лонгвена, того самого города, где нас ссадили с поезда и гнали, как стадо на убой, под Верден. Дневку мы решили провести на кладбище, но потом хорошенько осмотрелись и увидели, что здесь нас могут легко заметить. Мы перебежали в лес, который был недалеко от кладбища. Это было

в воскресенье и в лесу по заготовке дров никто не работал. Мы расположились отдохнуть недалеко от поленниц дров. Неожиданно вблизи нас показался охотник с собакой, и мы оказались между двух огней. С одной стороны,— охотник, с другой—шоссе, где по направлению к Вердену неторопливо двигались колонны за колоннами немецких солдат. Шла пехота, артиллерия, саперы и кавалерия. Ехали автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты без конца. С другой — охотник с собакой гонял нас целый день, пока ему это занятие не надоело.

Наступили сумерки. Охотник отозвал собаку и ушел. Совсем не отдохнув, мы вышли из засады и двинулись в путь. Итти к городу было опасно. Нечего делать, двинулись в обход. Ночь была темна, хоть глаз выколи. Чтобы не натолкнуться на немцев, мы шли очень осторожно, прислушиваясь к малейшему шороху.

Была еще и другая опасность—дикие свиньи, которые стадами бегали в дубовом лесу. Дикие свиньи—опаснее волка. Одно спасение от них—влезть на дерево.

Под утро мы подошли к небольшой, но глубокой, с обрывистыми берегами речке, ощупью доплелись до моста и прилегли на землю, чтобы рассмотреть, нет ли на нем охраны. Неподалеку от моста стояли мельничные амбары. Только что собрались мы итти по мосту, как вдруг в одном из сараев скрипнула дверь,

блеснул огонек, и в дверях показалась фигура немецкого солдата, ведущего на водопой лошадь.

Мы шарахнулись в сторону и бросились бежать вдоль речки. Вдали виднелся какой-то заброшенный домик, мы направились к нему, но нас остановил бешеный лай собаки. Уже светало. Осмотревшись кругом, мы заметили недалеко от себя какую-то арку, переброшенную через реку, и подошли к ней. Это оказалась железная плотина с перекинутой через реку аркой из стропильных балок.

Вода с огромной высоты с шумом падала вниз и разбивалась о камни, пенясь и сверкая. От арки до плотины было шагов восемь, а может быть и двенадцать. Переползать по этой арке было рискованно. Оборвешься или закружится голова, свалишься в водопад и песенка спета—поминай как звали!

Но долго задумываться было некогда, скоро должно было взойти солнце, и нас при дневном свете свободно могли заметить и забрать.

Я подвязал котомку с продуктами, чтобы она не болталась и не нарушала равновесия, и полез кверху, по арке. Вслед за мной полез и Савлитов. С краю арки ползти еще можно было, но с середины пришлось спускаться вниз головой. Это было опасно. Но путешествие наше все же кончилось благополучно и мы наконец добрались до другого берега.

Было уже светло. Солнце большим красным диском показалось на горизонте и осветило своим ярким светом верхушки леса и пригорки. Свободно вздохнув, мы пошли дальше. Поднялись в гору. Впереди расстилалась бесконечная равнина. Куда скрыться? Где отдохнуть? Усталые мы шли и шли, пока наконец не заметили овражек, поросший хвойным лесом.

Забыв всякую усталость, мы бросились бежать и юркнули в чащу молодого леса. Ну, теперь в безопасности! Наломали прутьев и сделали из них себе подстилку на сырой земле. Мы были несказанно счастливы. Около двух лет мы просидели в заточении и проходили под штыком Вильгельмовских палачей. Теперь прямо не верилось, что мы свободны. Солнце поднялось над лесом и так ласково пригревало. Над нашими головами темнела густая хвоя, кое-где прорезанная солнечными блестками. Воздух был напоен смолистым запахом... Мы с товарищем Савлитовым расположились на земле и сладко заснули.

Нас разбудил пронзительный лай собаки. Мы вскочили. Собака взвизгнула и исчезла. Мы испуганно переглянулись, Савлитов озабоченно пробормотал: «Какие-то люди. Надо пойти посмотреть». Мы подошли к опушке леса и увидели быстро идущего старика. Чтобы не испугать своей внешностью незнакомца, Савлитов

сбросил с себя потрепанную шинель и пошел к нему навстречу, а я остался в лесу.

Савлитов потом рассказывал, что это был француз, обитатель одинокого крестьянского дворика.

— Я хотел пойти с ним,—говорил Савлитов,—но он меня удержал, объяснил, что у него на квартире остановились два немца. «Побудьте, говорит, здесь в лесу—я принесу вам белого хлеба».

Не прошло и часа, как из дома вышел старик с корзиной в руках. Он принес нам две буханки белого хлеба и по бутыли горячего кофе с молоком. Мы поблагодарили его, просили указать направление на город Мец и рассказали, что мы идем в Швейцарию. Он покачал головой и сказал, показывая рукой на север:

— Идите лучше вот туда, в Люксембург, и вас там примут хорошо.

Старик постоял около нас, опять покачал головой и медленно вернулся к себе в хату. С волчьим аппетитом мы набросились на белый хлеб, которого не видели уже три года. Мы уничтожили бы его целиком, если бы не вспомнили, что надо быть бережливыми, что нам предстоит долгий и трудный путь. С закатом солнца мы вышли из лесу, чтобы осмотреться и взять направление на северо-восток.

На третьи сутки нашего путешествия мы

неожиданно наткнулись на проволочное заграждение. Вдруг местность осветилась прожектором [1]. Мы прилегли на землю и увидели, что находимся вблизи одного из фортов крепости Мец, а вдали на горизонте светился заревом город. Когда погас прожектор, мы бросились назад, а потом пошли влево, к лесу. Но в темноте мы не заметили обрыва и скатились на дно долины с разбитыми коленями и исцарапанными руками. Опомнившись и ощупав тело, целы ли кости, мы поднялись и поплелись вдоль речки. Как сама долина, так и речка была извилиста и еще более спутывала направление в этой непроглядной темноте. Мы повернули вправо, но подниматься в гору было невозможно из-за колючего кустарника.

Мы вооружились палками, закрыли головы шинелью, и, опираясь на палки, кое-как стали продираться через колючий кустарник. Только с большим трудом, к рассвету, мы поднялись наверх и пошли вдоль опушки леса.

С восходом солнца мы свернули в лес переждать и отдохнуть. Погода была ненастная, сырая. Дождь промочил нас до нитки. Мы едва нашли убежище в одной из пещер каменоломни. Вечером мы вышли из каменоломни и

[1] Прожектор — фонарь для освещения местности на далеком расстоянии.

разложили костер, чтобы немного подсушиться, так как к вечеру сильно похолодело, и наша мокрая одежда вся обледенела. Сидя у костра, мы услышали какой-то шорох, насторожились, осмотрелись кругом, но никого не заметили. Повидимому кто-то прошел мимо.

Мы отогрелись у огня и двинулись в путь на опушку леса. Там нас подстерегало несчастье.

Нам навстречу, с винтовкой на плече, шел немецкий солдат. Мы повернули и, как затравленные звери, побежали в кусты. Немец осмотрелся и пустился за нами в погоню. Я рванулся бежать, Савлитов схватил меня за руку:

— Будь, что будет—подождем здесь!

Но я не хотел очутиться в ловушке. Собрал все силы и бросился бежать вглубь леса. Савлитов последовал за мной. Сзади раздались выстрелы. После первого выстрела я присел и пополз в кусты.

Немец кричал: «Хальт!» (стой) и продолжал стрелять по Савлитову. Выстрелы удалялись. Я встал, пошел к опушке леса и укрылся в густых кустах около условленного места. Здесь я прождал т. Савлитова до поздней ночи. но его не было. Я понял, что он убит, и погоревал о товарище.

НА СЕВЕР.

Долго я обдумывал, что делать? Сдаться в ближайшей деревне или продолжать путь?

Итти в Швейцарию было невозможно,—продовольствия нехватило бы. Да и бороться одному труднее. Я вспомнил старика-француза, который советовал нам пойти на север в Люксембург.

Я решил, что пока есть силы и продовольствие,—не сдамся, а буду один продолжать борьбу. Я вышел из засады, круто повернул на север и пошел вдоль опушки леса. Пересек поле и вышел на шоссе, вдали виднелась деревня. Дальше итти нельзя было, уже слышались голоса. Я снова свернул с дороги в лес и забрался в чащу на дневку. Как я ни пытался, но не мог заснуть. Каждый шорох будил меня, тревожные мысли не давали покоя. Вновь и вновь размыкались усталые глаза.

Так я провел весь день в тревоге, и только к вечеру вышел из чащи.

По дороге я встретил молодого парня. Я остановился,—остановился и он. У меня мелькнула мысль, не немец ли он, не сцапает ли он меня.

Незнакомец вдруг резко спросил меня по-немецки:

— Кто вы?

— Русский,—ответил я, тоже по-немецки.

Он оказался бельгийцем. Подошел ко мне и начал выспрашивать, откуда я и куда иду? Я ему рассказал мои приключения. Бельгиец сочувственно пожал мне руку и сказал:

— Подожди немного здесь, я пойду домой и принесу тебе поесть.

Договорив это, бельгиец повернулся и торопливо пошел прочь.

Я долго смотрел ему вслед. Меня взяли сомнения. «Вдруг он не бельгиец, а верный слуга немецкой буржуазии—переодетый Вильгельмовский солдат. Пойдет сейчас за оружием в деревню и возьмет меня, как охотник зайца, а то пристрелит без долгих разговоров?» В конце концов я решил спрятаться и посмотреть, что будет. Так я и сделал.

Смотрю, мой бельгиец идет с корзиной в руке. Прошел мимо меня к условленному месту и свистнул. Я понял, что мне бояться нечего, вышел из засады и пошел к нему. Бельгиец, заметив, что я подошел к нему с другой стороны, одобрил мою осторожность. Он принес мне буханок белого хлеба и бутылку горячего кофе с молоком и на прощание рассказал—как надо перейти деревню и добраться до города Люксембурга. От него я узнал, что попал в Бельгию и нахожусь недалеко от пограничного города, а впереди местечко Мец, где стоит немецкая рота, которое мне надо было избегать.

Я от души поблагодарил бельгийца.

Когда пробило 12 часов на церковной башне, я вышел из лесу и направился к деревне,

прошел ее и оказался у речки. На мосту стоял часовой. Надо было пускаться вплавь.

Берег был крутой и обрывистый, речка быстрая. Я долго ходил, отыскивая место, где можно было спуститься. На мое счастье попалась железная перекладина. Я ощупал рукой, это была железная балка, рельс, переброшенный через речку. Вот по нему-то я и перебрался.

Вышел на шоссе, перешел железнодорожный путь и быстро пустился вперед. Вдали уже видны были строения города. Вокруг было тихо и мертво,—город как будто вымер. Я с удивлением спрашивал себя: неужели это Люксембург?

Я вошел в черту города. Всюду тихо, только лай собак нарушал эту мертвую тишину.

Я ПЕРЕХОЖУ ГРАНИЦУ.

На окраине города, против небольшого двухэтажного дома, я расположился под телегой и задремал от усталости и пережитых волнений. Меня разбудил скрип. Я поднял голову. В окне второго этажа показался мужчина и быстро исчез. Вскоре звякнул дверной засов и с крыльца спустился молодой человек лет 25—27. По наружности он был больше похож на француза, чем на немца.

Я вышел из-под телеги и пошел к нему. Уви-

дя меня, молодой человек так и шарахнулся. Видимо, он испугался. Я обратился к нему по-немецки:

— Какой это город,—Люксембург?

Молодой человек показал пальцем на восток и дрожащим от волнения голосом проговорил:

— Вот там, за этим лесом Люксембург.

— Куда вы идете?—спросил я.

— В Люксембург,—ответил незнакомец.

— Возьмите меня с собой.

Молодой человек подумал.

— Взял бы я вас с собой, да пограничная стража не пустит—арестует нас обоих.

С этими словами незнакомец поправил кепи на голове и быстро пошел по дороге.

Я остановился в раздумье. Солнце уже вышло и ярко озаряло местность. Невдалеке виднелся сосновый лес. А между ним и мной лежало болото. Не долго думая, я бросился бежать. Только брызги летели и обдавали всего грязью. Наконец добрался до лесу и незамеченный я перешел пограничную лесную просеку и оказался на опушке. Там я прилег и крепко заснул.

Меня разбудили голоса, я осмотрелся и увидел, что недалеко от меня два паренька пашут на волах поле, изредка на них покрикивая. Я понял, что нахожусь на земле государства, еще не втянутого в войну. Недалеко виднелась полная жизни люксембургская деревня.

Я встал, снял с себя шинель и направился

к пахарям. Не доходя до них в шагах десяти я остановился. Мы молча рассматривали друг друга.

— Здесь Люксембург?—спросил я.

Они отвечали утвердительно.

Тогда я обратился к ним с просьбой купить мне одежду и дал им 60 марок [1]. Они, поколебавшись, взяли деньги и просили подождать до обеда. Я вернулся к себе в засаду, а они долго смотрели мне вслед, а я радостно наслаждался природой.

День был сухой и солнечный. Жаворонки так радостно заливались в воздухе. Я издалека следил за пареньками и вдруг вижу,—подходит к ним какой-то высокий человек. Они горячо, перебивая друг друга, начали ему рассказывать, показывая в мою сторону.

Выслушав их, незнакомец повернулся и пошел в деревню. Я жду, что будет. Вскоре появляется целая компания: давешний незнакомец с двумя женщинами и ребятишками. Они направлялись ко мне. Я вышел навстречу. Высокий человек поставил на землю две корзины. В одной были: шляпа, ботинки, белье и костюм, а в другой—белый хлеб и молоко.

Это был повидимому люксембургский крестьянин с семьей. Они остановили меня, с лю-

---

[1] Марка — денежный знак в Германии. По довоенному курсу равнялась около 47 коп. (46,5 коп.)

бопытством рассматривая и расспрашивая—кто я такой, куда и зачем я иду. Посоветовали мне пойти в город и поступить рабочим на фабрику. На прощанье объяснили мне, куда итти.

После их ухода я переоделся. Костюм должно быть принадлежал высокому дяде и был мне так велик, что пришлось брюки загнуть. Та же история повторилась и с рукавами. Обулся, надвинул шляпу, позавтракал и тронулся в путь. Новая одежда болталась на мне, как на вешалке, я был так смешон, что прохожие оборачивались и смотрели мне вслед. Чтобы не навлечь на себя подозрения, привстрече с немецкими солдатами, я за три шага снимал шляпу и говорил «моэн»[1]. Немец тоже отвечал: «моэн». И я, не моргнув глазом, проходил мимо.

В ЛЮКСЕМБУРГЕ.

Неподалеку от города меня догнал незнакомый человек. Я прибавил шагу, и незнакомец тоже. Я остановился,—остановился и он и начал расспрашивать, куда я иду. Сначала он заговорил со мной по-французски, но видя, что я ничего не отвечаю, начал расспрашивать по-немецки. Делать было нечего,—пришлось рассказать о своем путешествии. Так незаметно мы дошли до окраины Люксембурга.

---

[1] Моэн сокращенно — моргэн («Доброе утро»!).

Незнакомец потащил меня в кафе. Здесь сидело много немецких солдат и посторонней публики. Они пили пиво и за рюмкой вина горячо обсуждали военные события, а молодежь танцовала под рояль-автомат. Мы выпили по бокалу пива и вышли из кафе. Подходя к полотну железной дороги, мой собеседник указал на два особняка и объяснил:

— Вот здесь мой дом, а вот в этом доме стоит немецкая оккупационная[1] рота.

Я так и вздрогнул. Все, что я ему рассказал про французский фронт и поражение немцев, ураганом пронеслось в голове, сердце забилось. Я понял, что дал маху и наговорил лишнего. Незнакомец предлагал мне пойти к нему ночевать, но я решительно отказался. Тогда он пожал мне руку и свернул к своему домику, а я пошел дальше, радуясь, что избавился от своего собеседника.

Люксембург—это небольшой, чистенький, утопающий в зелени и парках город, с широкими асфальтовыми улицами, пересекаемый узкой речкой. Был уже вечер. Электрический свет заливал улицы и ярко освещал витрины магазинов. Публики на улицах было очень много. Люксембург как-будто не замечал войны, жил полной жизнью. Среди гуляющей публики бы-

---

[1] Оккупация — временное занятие войсками какого-либо государства, части другой страны.

ло много немецких солдат и офицеров, смотревших на публику с задором победителей.

Я шел все дальше, прячась в тени каштановых аллей. Наконец я добрался до окраины города и стал спускаться вниз под гору, там жили главным образом рабочие, бедняки. Я обратился к двум пожилым синеблузникам, спрашивая, нельзя ли у них переночевать. Рабочие переглянулись, покачали отрицательно головой и сказали, что пускать на квартиру иностранцев строго воспрещается и посоветовали обратиться в гостиницу.

Было уже около 10 часов вечера, итти снова в лес на ночлег не хотелось. Я зашел в гостиницу с просьбой дать мне номер. Но владелец гостиницы, толстенький буржуй с двойным подбородком, презрительно посмотрел на меня и попросил уйти. Кровь бросилась мне в лицо, сердце заклокотало... Так и хотелось броситься на этого буржуя и задушить его. Но я сдержал себя и, скрепя сердце, вышел из гостиницы.

Спускаясь вниз, я заметил, что на пороге какой-то лавчонки стоит мужчина и пристально смотрит на меня.

Я повернулся, пошел обратно и, поравнявшись с ним, спросил:

— Нельзя ли у вас переночевать?

Незнакомец, не отвечая, взял меня за руку и ввел в дом.

В ГОСТЯХ У ФРАНЦУЗА.

Это была маленькая лавка старьевщика, случайного старьевщика-торговца. Чего только здесь не было! Матрацы, одежда, посуда, кровати, всякий хлам. Незнакомец усадил меня на старый, потрепанный диван и стал расспрашивать обо всем; узнав, что я бежал из немецкого плена, обрадовался мне и сказал, что он—француз, бежал из армии и живет здесь под именем люксембуржца. Мы оказались товарищами по несчастью и обменялись крепким рукопожатием. Новый товарищ познакомил меня с женой, накормил ужином, я рассказал ему все свои похождения, а также про успехи и поражения на французском фронте.

Близилась ночь, на улице было темно. Снова отправиться на поиски пристанища не хотелось, да и устал я чертовски, пройдя не один десяток километров по твердой шоссейной дороге. Поэтому я попросил разрешения переночевать. Француз долго раздумывал, говорил, что это запрещено, но, посоветовавшись с женой, решил пристроить меня на ночь в магазине. Заперли окна и двери магазина и разостлали на полу какую-то старую перину.

Это была первая ночь, проведенная мною по-человечески, за последние три года. Раздевшись, я бросился на перину и заснул крепким, крепким сном. Проснулся утром. Было еще тем-

но, только солнечные лучи, проникая через щели оконных ставней, освещали комнату. Вскоре звякнул замок. Отворились ставни, в лавку ворвались потоки света. Пришли француз с женой, мы позавтракали. Француз подобрал костюм более подходящий для меня, дал мне кепи и ботинки. Коренным образом изменив свою внешность, я простился с гостеприимной семьей и отправился на поиски работы.

НА ЗАВОДЕ ДОМЕЛЬДИНГЕН.

Вышел я на улицу и подумал:

— Куда мне итти?

Решил пойти вдоль трамвайной линии, на окраину города. Вдали виднелись фабричные трубы. Идя по дороге к заводу, я заметил роту немецких солдат и немного растерялся; невольно дрожь пробежала по телу, захотелось бежать. Но трусость скоро прошла. Набравшись энергии, я решительным шагом направился навстречу солдатам.

Итак благополучно добрался я до деревни Домельдингендорф, на противоположном конце которой стоял завод, трубы которого я видел еще из Люксембурга.

Я было отправился на завод искать работу, но в это время к заводу подошел поезд с вагонами, нагруженными коксом, а на вагонах я прочитал немецкие надписи. «Немецкие вагоны,

стало быть и завод немецкий»,— подумал я и повернул обратно.

Вышел за ворота и направился дальше по асфальтовому шоссе, красиво обсаженному фруктовыми деревьями. Пришел в небольшую, но чистенькую электрифицированную деревню Бегендорф, с двухэтажными крестьянскими домами, выстроенными из серого бельгийского камня.

Огляделся и нашел какое-то кафе. Было одиннадцать часов утра. Кругом было пусто, только за буфетом стояла молодая девушка. Полагая, как в России, я попросил у нее стакан кофе с бутербродом. Девушка улыбнулась, признав во мне иностранца, и сказала, что у них ни кофе, ни бутербродов нет, а есть только вино и пиво. Потом пристально посмотрела на меня и спросила по-немецки:

— Вер зинд зи, францозиш, бельш, итальяниш, дейч? [1] Она с улыбкой перечислила все соседние государства. Но я только качал головой. Тогда она снова спрашивает.

— Вер зинд зи? [2]

Я отвечаю:

— Их бин руссиш [3].

— Ах зо, руссиш, руссиш!—восклицает она,

---

[1] Вы француз, бельгиец, итальянец, немец?

[2] Кто же вы?

[3] Русский.

убегает вверх и тащит оттуда своего брата, который крепко пожал мне руку и налил мне рюмку виноградного вина. Выпив по рюмке вина, мы направились с ним в деревенский ресторан, переполненный рабочей молодежью.

Здесь мой новый собеседник познакомил меня с молодым человеком Жозефом Кинцель, одним из работников конторы завода Домельдинген. Молодежь окружила меня. Все наперебой старались меня угощать, но пить я решительно отказался, так как всякая неосторожность с моей стороны была для меня гибельной, ведь везде и всюду сновали немецкие шпики, да и я не принадлежал к пьющим людям.

Жозеф Кинцель предложил мне поступить на работу на их чугунно-литейный завод. Я с радостью согласился. На другой день Жозеф повел меня к директору завода, и, заручившись его согласием, мы с Жозефом направились в Континэ. Здесь я взял номер с готовым столом за три марки в сутки.

У ДОМНЫ.

Меня поставили работать у домны. Работа была очень тяжелая, особенно для истощенного человека. Надо было в течение 8-часового рабочего дня нагрузить 56 вагонеток железной руды и подвести их к подъемной машине. Кроме этого приходилось работать по разгрузке

железной руды. Приходилось сбрасывать ежедневно до 15 тонн груза. От такой тяжелой, непосильной работы кружилась голова, я обливался потом. К концу дня я еле стоял на ногах.

Так я проработал две недели, получая за этот каторжный труд шесть марок в день. В одну из ночных смен, разгорячившись во время работы, я выпил холодной воды. На другой день я уже не мог работать. Вызвали фабричного врача, который признал у меня брюшной тиф, освободил от работы на две недели и приказал лечь в постель. Это было в апреле месяце. Кругом все зеленело и цвело. Была теплая, солнечная, весенняя погода, лежать я не мог, меня тянуло в лес и поля.

Местечко Континэ утопало в цветах. Душистые розы уже распустили свои бутоны; цвели также яблони, вишни и другие плодовые деревья. Весь воздух был напоен благоуханием цветов. Больной, еле передвигая ноги, я целыми днями с утра до вечера просиживал на этой плантации роз или уходил в сосновый лес.

К концу недели я почувствовал себя совсем здоровым. Так я на ногах перенес брюшной тиф. К концу моего отпуска подоспела пасха. Здесь, в Континэ, я познакомился с одним французом Луи, также бежавшим с французского фронта. Мы жили в одном номере, по праздникам ходили вместе в город и в соседнюю деревню к Жозефу Киндель. Когда я выздоровел,

мне дали более легкую работу: отвозить шлак из шлакопроводов, грузить кокс, грузить чугун в вагоны и помогать литейщику формовать.

СОЮЗ «СПАРТАК».

На заводе Домельдинген работало много немецких эмигрантов [1], бежавших кто из Германии, кто с фронта. Рабочие и служащие завода относились ко мне хорошо. Скоро я подружился с товарищами и стал ходить с ними в город; здесь они мне показали опасные места: комендатуру немецкого командования и здание контрразведки и советовали в этих местах быть реже и весьма осторожными. Товарищ Киндель вскоре меня познакомил с революционной организацией—союзом «Спартак». Эта революционная организация оказывала мне материальную поддержку, а также выдала единовременное пособие: костюм, белье, обувь и 50 марок деньгами.

По рекомендации товарищей меня приняли в союз «Спартак» и поручили вести революционную работу среди рабочей молодежи завода, в частности вести агитацию против вой-

---

[1] Эмигрант — человек, переселившийся из одной страны в другую.

ны и шовинизма [1]. Это была одна из основных работ союза, так как германская буржуазия пыталась втянуть в войну крошечное государство Люксембург и мобилизовать люксембургскую молодежь.

Только благодаря энергичной работе союза «Спартак» рабочие массы были непоколебимы и каждый раз давали отпор натиску буржуазии. Все старания Германии втянуть Люксембург в мировую войну разбивались о стойкость и организованность люксембургского пролетариата. Рабочие Люксембурга отказывались не только итти в немецкую армию, но и вырабатывать на заводах снаряды для немцев.

АРЕСТ.

Однажды во время работы ко мне подошел люксембуржец-рабочий и сказал, что у него ночевали двое русских.

— Приходи и поговори с ними,—прибавил он.

Мы условились с ним встретиться после работы в столовой Континэ и оттуда вместе пойти к нему. Этот товарищ жил недалеко от завода. У него около дома был расположен не-

[1] Шовинизм — ненависть одной национальности к другой. Буржуазия всячески старается привить шовинизм, чтобы отвлечь внимание трудящихся от действительных врагов: капиталистов и помещиков — своих и чужих.

большой фруктовый садик, дальше огород, поля и лес, сама постройка была красиво сложена из серого бельгийского камня и покрыта железной крышей. Комнатки были маленькие чистенькие и уютные, в одной из них сидели два молодых человека, сильно истощенных на вид. Оказалось, что они были русскими военнопленными, работавшими на одной из каменноугольных шахт, так называемой «Грубэ Карл», и бежали оттуда, гонимые тяжелой, непосильной работой, побоями и голодом.

Они совершенно не знали о существовании маленького нейтрального государства Люксембург[1] и бежали в Голландию. Вечером они встретили крестьянина вблизи его дома. Он приютил их у себя дома и накормил. Утром к нему в дом пришли два прилично одетых гражданина с саквояжами, о чем-то переговорили с хозяйкой, увели русских в соседнюю комнату, дали им костюмы, дали по 25 немецких марок, откланялись и ушли. Я заинтересовался и стал расспрашивать люксембуржца, кто эти граждане и как они узнали о русских.

— Вчера вечером я позвонил в комитет красного креста, что ко мне пришли два грязных, худых, как скелет, и оборванных русских; вот

---

[1] Нейтральное государство — то, которое не вмешивается в войну.

этот комитет послал им одежду и белье,—сказал люксембуржец.

Я поблагодарил его за братское отношение к русским пленникам. Молодые люди стали расспрашивать меня, где я живу и работаю; когда я сказал, что я работаю на одном заводе с хозяином дома, они стали просить меня устроить их на работу.

На другой день я пошел в заводскую контору к товарищу Жозефу с просьбой устроить на работу двух русских пленных. Они охотно согласились, и Жозеф уладил дело с директором. На другой день,—это было в субботу,—мы все трое вышли на работу наваливать вилами кокс на вагонетки.

В одиннадцать часов утра к нам прибежал товарищ Жозеф и встревоженно сказал, что сейчас звонили по телефону и всех нас звали в Континэ. Это заявление Жозефа обеспокоило меня: не доверять товарищу, которого я знал уже четыре месяца, не было никакого основания. Мы бросили работу и направились в Континэ. Только что вышли за заводские ворота и что же—аллея, ведущая к Континэ, оцеплена немецкими солдатами; бежать было невозможно, оцеплена была также и деревня.

Немецкий унтер-офицер, подойдя ко мне, сказал грубо:

— Покажите документы!

Я ответил, что никаких документов у нас нет. Он спросил, давно ли мы здесь работаем и откуда пришли. Мне пришлось солгать, что я работаю в Люксембурге с 1913 года, а мои товарищи—четыре месяца, а до этого работали у люксембургских крестьян. Немецкий унтер-офицер недоверчиво спросил, как мои товарищи попали в Люксембург. Я ответил, что они работали, как батраки, у польских помещиков; во время наступления немцев помещики убежали в Россию, а они остались в Польше. Имение было разрушено, и они, гонимые нуждой и голодом, пошли пешком через Австро-Венгрию и Германию в Люксембург, как в нейтральное государство, искать работу.

Весть о том, что Континэ оцеплена взводом немецких солдат, а русские все арестованы, быстро распространилась по заводу. Рабочие побросали работу и, пока мы объяснялись с немцами, заполнили все выходы и требовали у немцев нашего немедленного освобождения. Унтер-офицер, видя, что этот арест может повести к осложнениям с рабочими, обернулся к нам и сказал:

— Вы свободны! Можете итти на работу.

Когда мы вернулись на завод, рабочие восторженно приветствовали нас и говорили, что нас они немцам не отдадут и что мы будем работать с ними до окончания войны.

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ТЮРЬМА.

Допрос наш окончился благополучно, но меня тревожили какие-то глухие подозрения. В воскресенье, с раннего утра, я пошел в город, а оттуда, как будто прощаясь с приютившей меня страной, бродил по окрестностям Люксембурга. Только поздней ночью вернулся в Континэ. Тяжелые мысли долго не давали мне заснуть.

Разбудил меня гудок. На душе было как-то тяжело и не хотелось итти на работу. Но я решил не поддаваться гнетущим мыслям, соскочил с постели, наскоро оделся и ушел.

В девять часов утра к нам на работу пришел мой товарищ Мюллер и сказал: «Пойдемте со мной в 4-ю немецкую оккупационную роту; оттуда только что звонили и просили вас притти за получением документов для дальнейшего и беспрепятственного проживания в Люксембурге».

У меня в груди что-то дрогнуло. Хотел бежать, но остановила мысль о товарищах. Было жаль их бросать, а бежать со мной они отказались. После долгих колебаний я решил пойти вместе с ними, так как они ничего по-немецки не понимали. Это было моей ошибкой: нам нужно было всем вместе бежать.

Пришли в четвертую роту. Немецкий фельдфебель необычайно вежливо попросил нас при-

сесть, потом передал другому солдату какие-то бумаги и, обращаясь к нам, сказал:

— Вместе с этим унтер-офицером вы поедете в город к коменданту, он удостоверит ваши личности и подпишет документы для дальнейшего пребывания в Люксембурге.

С нами пошел и Мюллер. Мы в трамвае поехали в Люксембург. Но мимо комендатуры нас провели, не заходя туда. Я обратился к Мюллеру, прося, чтобы он узнал у конвоира, куда мы идем, так как комендатуру мы давно прошли.

Мы взошли на мост, перекинутый через речку. Этот мост охранялся шестью немецкими часовыми. Товарищ Мюллер, возвращаясь ко мне, сказал, что нас ведут в немецкую контрразведку. Теперь для меня было ясно, что мы попали добровольно в хитро расставленные сети. Но не падая духом, я стал говорить товарищам: «В случае, если будут опрашивать нас, говорите то же, что я говорил в Континэ. Если же нас поведут дальше, то я свистну, и вы бегите в калитки домов, кто куда!»

Этот план нам выполнить не пришлось. В конце у самого моста на склоне горы стояло здание, где помещалась немецкая контрразведка. Здесь нас допросили и предъявили обвинение в агитации против войны и немецкой армии. Возражая, я указывал на своих товарищей, спрашивая, как же они могли вести агитацию,

когда не знают ни немецкого, ни французского языка?

Но моих возражений никто не слушал. Нас обыскали и отобрали все, что у нас было, а потом под усиленным конвоем перевели в Люксембургскую тюрьму, где поместили в общий карцер.

Это была небольшая четырехугольная комната с голыми нарами и с двумя маленькими решетчатыми окнами под самым потолком. Отсюда нас ежедневно водили на допрос, но не смогли ничего от нас добиться. Выписали даже немецкого поляка, хорошо владевшего русским языком. Но и это не помогло немцам узнать, откуда мы появились в Люксембурге. Ни Мюллера, ни других товарищей, мы больше не видели. Свобода сменилась новым заточением.

ТРИЕРСКАЯ КРЕПОСТЬ.

Так прошло шесть месяцев. Немцы под усиленным конвоем отправили нас из Люксембургской тюрьмы в Триерскую крепость. Это было трехэтажное старинное здание с небольшими решетчатыми окнами, со сводчатыми потолками и широкими длинными полутемными коридорами. Крепостная тюрьма была настолько переполнена, что для нас во всем здании не нашлось ни одной свободной камеры.

Нас разместили в коридоре третьего этажа,

где постелью и нарами служил голый пол, покрытый толстым слоем грязи и пыли. Горячая пища выдавалась ежедневно и состояла из остатков пищи тюремной стражи. По утрам давали по фунту черного солдатского хлеба и по литру горького кофе. Из-за отсутствия внутренней охраны нам здесь можно было ходить по всему коридору и свободно разговаривать с другими заключенными, среди которых находились дезертиры, социал-демократы и спартаковцы.

В Триерской крепости пробыли мы немного более полугода. Отсюда нас отправили в лагерь гражданских пленных, расположенный неподалеку от Кельна. Это был очень большой лагерь, в котором кроме гражданских пленных размещались десятки тысяч русских, французских и английских военнопленных. Здесь же в лагере были также индусы, негры и канадцы.

Нас поместили в один из бараков гражданских пленных, где были поляки, эстонцы, латыши, литовцы, евреи и наконец немецкие же подданные, прибывшие накануне войны в Германию из России.

Пленным в этом лагере жилось лучше, чем в лагере Гольбе. Здесь по утрам выдавали кофе и хлеб, в обед суп, к ужину кукурузную болтушку. Здесь можно было свободно ходить из барака в барак, и допускались игры. Работать никого не заставляли. Кроме того русские воен-

нопленные получали еженедельно от Бернского красного креста—белье, хлеб и газеты, им позволяли писать на родину письма и получать посылки.

Вскоре меня, как знающего немного немецкий язык, направили на работу в Ваанскую регистратуру, где работало много немецких солдат-инвалидов и женщин. Здесь работать мне пришлось недолго, так как всех русских, работающих в регистратуре, отправили в Лимбургский лагерь.

ЛИМБУРГСКИЙ ЛАГЕРЬ.

Лимбургский лагерь военнопленных был расположен на вершине одной из высоких гор, в пяти километрах от города.

Жизнь пленных в Лимбурге была тяжела, и люди там превращались в скелеты. Пища выдавалась прескверная: суп варился из нечищенных устриц и картофеля или брюквенной жмыхи, немцы из брюквенного сока приготовляли варенье, а эти жмыхи варили пленным. Вместо чая или кофе в кухонных котлах заваривали брусничный ягодник или березовые листья. Хлеб приготовлялся из шестнадцати сортов суррогатов [1].

Изголодавшиеся люди рылись в помойках и

[1] Суррогат — подделка, подмен.

мусорных ящиках, с жадностью пожирая куски гнилого хлеба, испорченные овощи, картофельные очистки, выброшенные союзными и немецкими солдатами. Эти отбросы вызывали острые желудочные заболевания и уносили тысячи молодых жизней. Молодые врачи и студенты ежедневно оперировали десятки больных военнопленных. Но выживали немногие. При операциях в желудках больных обнаруживали фунтами песок, кости, шлак и каменный уголь.

В особенности тяжело было пленным после Октябрьской революции, когда высылка ржаных галет и белого хлеба швейцарским красным крестом была сильно уменьшена, а вскоре и совсем прекращена. В отместку за то, что в России произошла революция, швейцарская буржуазия прекратила свою помощь жертвам войны.

Люди голодали. Немецкая буржуазия воспользовалась отчаянным положением пленников, чтобы заставить их пойти на какую угодно работу. Десятки тысяч военнопленных отправлялись на самые худшие и тяжелые работы в подземелье, где принуждали работать по 12 часов в сутки за 25 пфеннигов в день.

Только немногие счастливчики попадали на работу к рейнским виноградарям или крестьянам, где они жили по-человечески, работали и питались наравне со своими хозяевами.

В командный состав, охрану лагерей и кон-

воиры пленных отбирались люди, отличавшиеся большой жестокостью, в большинстве принадлежавшие к буржуазии. Чтобы показать зверски жестокое обращение буржуазии с пленными, я приведу один из тысячи примеров. Я помню, как в комендатуру лагерей привезли под конвоем одного русского пленника, бежавшего с работы. Сколько его ни пытали, ни били по лицу, все же добиться от него ничего не могли. Он твердил лишь одно:

— Убейте, но работать на шахты не пойду!

Недалеко от комендатуры собралась большая толпа пленных, но она была бессильна выручить товарища. Проволочное заграждение отрезало им путь.

Немцы решили наказать ослушника, и на глазах у пленных фельдфебель Шнайдер и унтер-офицер Мацосек в присутствии коменданта лагеря снова принялись избивать свою жертву. Кровь пленника обагряла руки палачей. Чтобы не свалиться на землю, он так крепко ухватился за колючую проволоку, что немцы не могли его оторвать. Тогда немецкий унтер Мацосек спокойно вынул из кармана перочинный нож и здесь же, на глазах военнопленных, разрезал связки между пальцами руки, и товарищ Балочунас, истекая кровью, свалился на землю, а фельдфебель Шнайдер своим гигантским телом навалился на свою жертву и задушил ее. Взва-

лили труп Балочунаса на тележку и свезли на кладбище. Вот как обращалась с пленными немецкая буржуазия!

РАССЛОЕНИЕ ПЛЕННЫХ.

Со времени Октябрьской революции, перед нашей маленькой лимбургской ячейкой во всю ширь встал вопрос о расслоении военнопленных. Я уже раньше упоминал, что среди пленных были представители различных классов: здесь были рабочие и крестьяне, здесь были представители буржуазной интеллигенции, здесь были помещики и фабриканты, которые всячески старались очернить Октябрьскую революцию и наших вождей и обрисовать их в глазах военнопленных, как изменников.

Задачей нашей ячейки было рассеять этот обман и указать массам истинный смысл Октябрьской революции. С этой целью мы проводили собрания и митинги, разбирали программы разных партий. Также необходимо было разъяснить массам, что с союзниками необходимо порвать.

В начале 1918 года, когда уже власть в России почти повсеместно находилась в руках советов, неожиданно для нас было получено известие, что больные русские военнопленные будут отправлены на родину.

Перенесший Люксембургскую тюрьму, Три-

ерскую крепость и штрафной лагерь, я заболел туберкулезом и пороком сердца и после медицинского осмотра попал в число отъезжающих. Я помню, как немецкий врач выслушал меня и сказал:

— Херцлейд. Аустауш[1].

Всех больных отобрали и направили в лагерь Инстенбург, а оттуда вместе с другими лагерями отправили на станцию Орша.

ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ В ОРШЕ.

В лагере Инстенбург мы пробыли неделю. Здесь нас соединили с такими же калеками из других лагерей, составили эшелон и направили через Польшу на русскую границу. На станции Орша нас сняли и разместили в лагерь, приготовленный исключительно для обменивающихся. В одной части этого лагеря находились мы, а в другой, по ту сторону заграждения,—немецкие пленные, отправляющиеся из России в Германию.

Вскоре немецкая часть лагеря опустела, мы остались одни в ожидании обмена. Так проходили дни за днями, на смену нам никто не приходил. Долго мы пытались узнать, в чем дело, зачем нас держат на самой границе. В конце концов все же удалось узнать от немецких сол-

---

[1] Сердце больное — пойдешь на обмен.

дат, что обмен прекращен из-за убийства в Москве немецкого политического представителя Мирбаха, что между Россией и Германией возможны новые осложнения. Это известие поразило всех, но делать было нечего, надо было готовиться к худшему. Мне удалось собрать небольшую группу единомышленников и повести работу в лагере, разъясняя, что в случае новой войны мы должны все, как один, броситься через проволочные заграждения лагеря, обезоружить часовых и бежать врассыпную в Россию, ибо другого выхода нет. Отступающие немцы нас могли расстрелять на месте, чтобы не возиться с нами, или мы попали бы под перекрестный огонь.

Дни шли в мучительном ожидании. Наконец мы узнали, что осложнения между Россией и Германией улажены. На 20-й день нашего пребывания в Орше к лагерю подали русский эшелон. Нас вывели за лагерь, выстроили против эшелона, и русские уполномоченные приняли нас. Здесь нас разместили в чистые санитарные вагоны с матрацами, оборудованием, сестрами милосердия, врачами и кухней. Мы отвыкли от такой роскоши, так как немцы весь эшелон больных везли в товарных вагонах, где из-за тесноты не только лежать, но и сидеть было невозможно. В Минске нас хорошо покормили и напоили горячим сладким чаем, а оттуда через Вязьму и Смоленск направили в Москву.

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ.

Мы были свободны. Не было больше лагерных бараков, не было постоянных конвоиров. На душе было легко и радостно. Родные поля и луга сменялись городами. На улицах не видно было прежней выхоленной буржуазии и золотопогонной офицерщины, их заменили синие блузы и серые шинели. Старый царский строй рухнул, его заменила власть советов.

Наконец—Москва. Наш поезд остановился на Савеловском вокзале. Здесь нас радостно приняли, разместили в казармах, сытно накормили, смыли немецкую грязь, одели, снабдили нас газетами и литературой. Потом нам выдали маршруты, опросив, кто и куда желает ехать, выдали также путевые деньги. Я собрался ехать в Архангельск, но к моменту отъезда он был занят английскими войсками, посланными на помощь русским белогвардейцам.

Я направился на родину в Устюг. Здесь все было как-то ново и неузнаваемо. У меня было два пути: остаться в городе, или пойти в деревню к отцу. Я выбрал последнее. Отец уже не был батраком, а имел небольшой надел земли и работал не на барина, а только на себя. Но брата уже не было в живых: он погиб тридцати шести лет от непосильной работы, оставив после себя пятерых малолетних детей и стариков-родителей. Мне пришлось взять заботу не толь-

ко о родителях, но и о семье брата. Хозяйство было разрушено, да и вполне понятно: разве старик в 90 лет и одна женщина-работница могли прокормить такое большое и беспомощное семейство?

На третий день по приезде на родину я обратился в Устюжский комитет партии. Сдал свой билет союза «Спартак» и взамен его получил билет Российской коммунистической партии (большевиков). В этот же день меня направили на работу в только что организовавшийся губенский военный комиссариат. Но работать здесь мне пришлось недолго. После первой губернской партийной конференции я был переведен с работы губвоенкомата на партийную работу в С.-Двинский губком ВКП(б).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

